



Марсель Жуандо

**О МОЁМ
ПАДЕНИИ**

*Перевод
Татьяны Источниковой*



Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр



Marcel Jouhandeau
De L'Abjection

*В оформлении обложки использована
фотография Жюль Эрман*

Издательство выражает признательность
Ирине Тюриной за помощь и поддержку

Редактор: Дмитрий Волчек
Верстка и обложка: Дарья Протченкова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

© Marcel Jouhandeau, 1939
© Kolonna Publications, 2013

ISBN 978-5-98144-174-5

Жану Полану

Дорогой Жан,
прими этот текст как документ,
в котором речь идет о незнакомом человеке,
и который я решился бы передать тебе
только если бы
попытался его уничтожить.

А



ДО ПОЗНАНИЯ ЗЛА

Часть первая

Симптомы

9

В ПРИСУТСТВИИ ДРУГИХ

Со стороны мужчин, даже незнакомых, я зачастую встречаю непонимание, а порой спонтанно возникающую неприязнь, что в конце концов приводит к моей полной изоляции.

Некоторые находят подозрительным само мое существование на этой земле, и их враждебность отталкивает меня в мою Тайну.

Но ничто не возбуждает меня сильнее, чем всеобщее порицание.

Эти невероятные пасхальные службы. Отхожу. Приближаюсь. Снова отхожу.

Какая-то мамаша во главе своего выводка:

– Ну и рожа! Что, у нас больше нет полиции?

С тех пор как я обрил голову, что-то такое я слышу постоянно.

Я, как никто другой, всем своим видом напоминаю о преступлении, даже о катастрофе.

М.: – Твоему лицу одновременно и двадцать, и тысяча лет. Когда ему скорее тысяча, чем двадцать, оно вызывает страх, но когда ему скорее двадцать, чем тысяча, – это еще хуже.

У тебя возраст Преисподней.

10

Сегодня утром я шел мимо лавки зеленщика и услышал, как хозяин-испанец сказал приказчику со всей подобающей серьезностью, указывая на меня: – Смотри! Фердинанд-католик! – Да нет, это Валентин Гудуфр!

Просто невероятно, с какой легкостью возникает разговор без слов между двумя попутчиками, которые усаживаются друг напротив друга в купе, или между тем, кто идет по улице, и случайным прохожим, попадающимся ему навстречу. В быстром обмене взглядами порой сквозит беспокойство, которое более явно отражается на лицах, замечается в произвольных жестах, свидетельствующих об инстинктивном расположении или враждебности.

Если и один и другой из случайно встретившихся прохожих – «просто кто-то», можно догадаться о том, что между ними происходит; но если «просто кто-то» повстречался с маньяком, с одержимым, с «изгоем», каким являюсь я, никто не может в точности сказать, что я чувствую, глядя на своего визави, или до какой степени сам он меня презирает – если только речь не идет о человеке достаточно восприимчивом к чужому любопытству и готовом его удовлетворить. Но если бы

такое чудо и произошло, с соизволения неба или ада, если бы мне случайно встретился тот, кто разделил бы мою идею-фикс, и на какое-то время мы бы даже поверили, что весь мир создан такими и для таких, как мы, – какое это было бы заблуждение! мы так и не решились бы предаться утонченному удовольствию.

Не стоило бы, прежде всего, жить с другими как с другим собой – а именно это я и делаю.

II

Без сомнения, я мог бы существовать только в таком мире, где все были бы одержимы той же самой манией, что и я!

Лишь изредка я воспринимаю как реальный этот невозможный мир, где я один чувствую себя заблудшим.

Мне было бы достаточно впасть в чувство исключительности, которое я испытываю среди мужчин, чтобы быть спасенным в общечеловеческом смысле, потому что тогда я бы усвоил, по крайней мере, ту необходимую степень лицемерия, которая, под видом житейской мудрости, позволяет адаптироваться к окружающим – если бы только единственная форма мудрости, доступная мне, не была всего лишь наиболее жизнеспособной формой моего безумия.

Какой безумец не сожалеет о том, что весь мир, подобно ему, не сошел с ума? Какой грешник – о том, что его грех не всеобщий закон? Отвержен-

ные и те из них, кто, будучи одержим одним и тем же пороком, следуя инстинкту или некому таинственному влечению, оказываются в одни и те же часы в одних и тех же местах. Так же и благонамеренные люди испытывают удовольствие лишь от общения с себе подобными. В мире, где грех был бы распространен, грешником считался бы уже не грешник, а порядочный человек. В мире, где распространилась бы мания, безумцем считался бы уже не безумец, а здравомыслящий человек, и само здравомыслие выглядело бы манией.

– “José l’Ostina!” – так это звучало на диалекте нашей местности. Что же такое я подозревал по поводу этого сказочного персонажа, не зная о нем ничего, кроме имени, которым называл меня отец, – если, даже будучи ребенком, не хотел его слышать?

– «Жозеф Одержимый!»

Иногда у меня возникает ощущение, что я живу в замедленном темпе, где-то за гранью жизни, почти как призрак; что, возможно, только моя болезнь теперь и заставляет меня жить – причем гораздо более насыщенно, чем другие.

И вот мои собственные поступки, мои собственные слова внушают моей душе такой страх и смятение, что она прячется в самых глубинах моего существа, откуда ее больше невозможно выманить.

СВИДЕТЕЛЬСТВА САМОМУ СЕБЕ О САМОМ СЕБЕ

а. Истина

Если бы только можно было договориться с самим собой о том, что думать, – но проще всего обманываться. Из лени или малодушия каждый соглашается на общепринятые условности, которые, по сути, являются готовыми ответами на собственные не дающие покоя вопросы.

13

Откажись от внешнего соблюдения правил чести – и вскоре утратишь честь, которая сама по себе всего лишь видимость, форма; тот, кто обладает беспощадной склонностью к истине, не сможет оставаться в пределах какой-либо формы, даже порядочности, которая тоже не что иное, как форма. Он бестрепетно пройдет через все формы страдания, не сохранив ровным счетом ничего, кроме некоего новоприобретенного величия.

Разве я не знаю, что моя жизнь состоит из парадоксов – я хочу сказать, из противоположных крайностей, которые извиняют все ошибки, как мои, так и сделанные по отношению ко мне.

«Рабанат»: так называла меня бабушка с материнской стороны, когда я бывал невыносим, – скорее всего, это было имя какого-то демона.

– Рабанат так хорошо скрывает свою игру, что может показаться, будто он изображает нечто прямо противоположное тому, что думает – более того, он, возможно, думает, что вовсе не играет.

И в самом деле, теперь он, возможно, больше не играет. Он так живет.

Ничто не способно удивить большинство людей сильнее, чем открытие того, что они играют комедию; и если сказать им, какую – они вам этого не простят; они и себе этого не простят.

Каждый играет комедию, но при этом не осознает ни своей роли, ни содержания комедии в целом. Речь идет о том, чтобы скрыть от себя собственную идентичность и прожить до самого конца в этой лжи, чтобы открыть истину только в Судный день.

14

Человек заурядный чаще всего так и умирает, не узнав самого себя, поскольку в этом знании он смутно чувствует опасность. Не так с великим человеком. Королевская душа не может долго скрывать от себя, какова она есть.

Смотришь на себя глазами, которые ничто не сможет обмануть – и порой посреди людной улицы или в разгар беседы.

Устроившись поудобнее в тишине и неподвижности, я притворяюсь, что привык к ним, и догадываюсь, что прикоснулся к великому покою.

Легко забываешь о себе, когда не существуешь.

Легко забываешь свои ошибки, когда ты единственный, кто о них знает.

Есть те, кто хорош, и те, кому выгодно казаться таковым; и не первые кажутся лучшими, даже самим себе.

Есть и такие, у кого всегда виноватый вид, даже когда они и впрямь виноваты. Это вторая невинность. Но это неправда – у меня вид злоумышленника, хотя я не совершил ни одного преступления.

Для этих лицемеров что порок, что добродетель – все едино; искусство – это временная условность, и в какой-то момент уже не нуждаешься ни в чем между жизнью и собой.

Истина, которую мы способны вдруг постичь, существует всего лишь миг, слишком краткий, чтобы мы смогли ее выразить.

Ничто не истинно, ничто не истинно всегда, ничто не истинно долго. Ничто не истинно достаточно долго, чтобы мы смогли это осознать.

Ограниченное присущей нам способностью более или менее сужать круг внимания, постижение истины лишь временно, и какова бы ни была истина, которую мы постигли, наши претензии на искренность необоснованны: в силу того, что мы полагаем себя искренними, мы заблуждаемся или лжем самим себе и, так или иначе, истина оказывается неполной, искаженной или утраченной.

Я говорю здесь об истине о нас самих.

Внутренняя дисциплина – скорее свойство духа, нежели интеллекта: она представляет собой постоянное напряженное ожидание, в котором столько же страсти, сколько терпения, и которое предуготовляет тот момент, когда душа вдруг словно озаряется или, по меньшей мере, просветляется.

Когда ум равен невежеству и оба велики, эти две составляющие равно благоприятствуют возвращению в себе некой разновидности гениальности – тонкой пронизательности, сходной с даром пророчества.

Искренность – свойство лишь полностью независимой души; но разве есть душа абсолютно свободная?

Любая зависимость сковывает ее, словно цепь.

Мы зависим от того, что знаем, и еще сильнее от того, что только думаем, что знаем.

А ведь даже тем, что мы знаем, мы чаще всего обязаны благоразумной осторожности старших, а тем, что только думаем, что знаем, – нашему собственному безрассудству.

16

Уверенность в какой-то момент начинает настолько мне претить, что я даже отказываюсь признать наверняка, что страдаю. Жить – значит обманывать или быть обманутым самому. А ведь достаточно лишь отвергать и ту и другую игру без малейшей снисходительности.

О свобода, трагическая способность двигаться вперед – едва лишь простерев руки перед собой, мгновенно уноситься взглядом вдаль, как если бы все вокруг стало огромным глухим лесом.

Но понятие истины настолько приземлено, что когда вы говорите истину, вас обвиняют в намерении удивить или скандализировать. То, чего больше всего не хватает уму, – смелость и пронизательность, поскольку одно исключает другое, в то время как и то и другое необходимо для понимания и выражения истины.

Открыть истину не означает ни догадаться о ней, ни слегка ее коснуться, ни вдохнуть ее аромат, ни заметить ее отблеск, признав, что сама она неуловима, как не означает и понять ее до такой степени, чтобы суметь объяснить, – это означает, вопреки самому себе, не зная ни почему, ни каким образом так получилось, быть одержимым ею с головы до ног, от кончиков ногтей до кон-

чиков волос, от всех пяти чувств до самых сокровенных глубин своего существа, дышать только ею, видеть только ее, слышать и осязать лишь ее в каждой вещи, повиноваться лишь ей, обращаться лишь к ней, вожделеть и страшиться только ее, лишь одному представлять перед ней, чтобы лишь она одна была перед вами и всем остальным миром, признаком которого она становится для вас одного. И не важно, является ли она истиной возвышенного или низшего порядка, предстает ли она некой абсолютной «Истиной» или нет – лишь бы она была единственно вашей или моей, лишь бы заполняла вас всецело. И неважно, как я объясняю ее себе – лишь бы она объясняла мне меня самого и все остальное. Даже если она имеет ценность только для меня, пусть она будет доступна только мне – лишь бы она дала мне ключ к разгадке, установила последовательность каждого из моих жестов, задавала ритм моим шагам, осветила изнутри мои мысли и оживила мою речь, одухотворила мое лицо, вызвала у меня слезы или улыбку, приказала невидимой тени моих горестей осесть или покинуть меня. Только она дарит мне сладострастие, ведомое мне одному, только она пробуждает во мне «мое удовольствие», только благодаря ей я больше не блуждаю в поисках себя, в поисках своей тайны – я нахожу ее; и даже если бы я был самым несчастным из людей, обреченным на вечное проклятье, я бы не предпочел никого (пусть даже у меня не было бы возможности отказаться) – истине, иными словами, такому воспоминанию, такому чувству или такой надежде, которым я ей обязан, которое подтверждает мне в моей одержимости, что я остаюсь собой и в себе, любой ценой стремясь сохранить свою личность, свою индивидуальность.

в. Поэзия

Человек виновный, в том случае если его преступления не очевидны, изобретает свой собственный зашифрованный язык, который оберегает его от любых сношений с правосудием.

18 Даже если другим кажется, что они догадываются о моих намерениях или моих наклонностях, невозможно, чтобы то, чего я действительно хочу, было бы настолько просто, как об этом думают, – как зачастую думаю и я сам.

Вся радость человека, все его обаяние держится лишь на объекте его вожделения, к которому он приближается или отдаляется, который он приближает к нам или удаляет от нас путем всевозможных уловок.

Зачастую не знаешь, к чему приведет та или иная сказанная тобой фраза. Словно заглядываешь в бездну – бездну чьей-то души. Он, ваш собеседник, ведет вас известными только ему путями и наконец приводит к своей личной трагедии, перед которой ваш опыт бессилён. Вам недостает отдельных элементов, необходимых, чтобы судить о ситуации, и четких ориентиров – но вот у вас каким-то загадочным образом появляются антенны, которые позволяют вам догадываться о существовании целого незнакомого мира, одновременно доступного и запретного.

Есть своего рода магия в самой нашей манере существовать, вести себя по отношению к тому, что мы ищем, но можем найти лишь на ощупь,

наугад – если мы не довольствуемся даже максимальной приближенностью, а стремимся познать объект изнутри, иными словами, если нами движет не только страсть, но и некое религиозное побуждение.

Два человека не придают одинаковый смысл одному и тому же слову. В зависимости от контекста, от места, на которое его ставит каждый, от кортежа других слов, которыми он его сопровождает, и ореола тайны, одиночества, мрака или света, безмятежности или священного ужаса, которым он его окружает, – он изменяет его, трансформирует, искажает или преображает, подвергает метаморфозе.

19

На любом из слов, которое я использую, лежит груз всего моего личного опыта, и неповторимый оттенок моей души рассеивается и вновь собирается в нем, словно проходя через уникальную призму.

Людей великое множество; мало тех, кого мы знаем. Самые глубокие и утонченные натуры скрываются в уединении – те, кто обладает необычной манерой мыслить и чувствовать, те, кто захвачен созерцанием Бога, других или самих себя. Порой эта глубина, эта утонченность проявляются вовне – тогда у нас возникает редкая возможность увидеть наши собственные бездны.

Мне казалось, я не испытывал ничего, что нельзя было бы выразить, но я заметил, что именно в такие моменты был совершенно неспособен выразить то, что чувствую.

Более того, все, что я мог выразить относительно самого себя, постепенно теряло для меня всякий интерес.

20

Грешник со временем доходит до того же крайнего предела, что и Мистик. Никто не знает точно, о чем говорят тот и другой, а сами они не знают, как заставить себя услышать, не прибегая к аллегориям.

– В углу зала ожидания третьего класса Орлеанской железнодорожной компании на мой серый плащ вдруг упал отблеск славы – славы Преисподней.

Если бы я не сумел создать себе отвлекающих словесных конструкций, я уже давно был бы мертв или угодил в «казенный дом». Единственное, что может меня спасти, – некая изощренность в использовании аналогий и символов.

«Стиль»: впечатление, чересчур подконтрольное его выразительности, утратило четкие очертания, отчего и сама выразительность утратила свой характер приманки, завуалированного приглашения, – иначе говоря, смысл существования.

Ночью стадо спит в теплом чреве стойла, и иногда, наполовину просыпаясь, овцы мягко трутся боками друг о друга – совсем как самые темные желания в глубинах моего сердца.

Журавль падает на осеннее поле. Крестьянин подбирает его и подрезает ему крылья. Следующей весной его собратья прилетают за ним, но несчастный лишь бьется, не в силах взлететь, и наконец умирает в обители скорби.

Ничто не кажется мне более близким к моему телу, чем травы и цветы. Именно от их безличных прикосновений мой член расцветает – словно одно и то же движение семени, одни и те же разветвления одновременно происходят в них и во мне. По-настоящему я изменял жене только с папоротниками и корнями, которыми ласкал себя или царапал.

21

По одну сторону стекла я кормлю птиц, по другую – ката, который, возможно, их сожрет.

Когда я жил на седьмом этаже в доме по улице Гей-Люссака, то всякий раз, поднимаясь к себе ночью после очередного неудачного похождения, я представлял, что карабкаюсь, сопровождаемый ангелами, по веревочной лестнице, привязанной к звездам, – среди которых я и засыпал на балконе, в мягких бархатных объятиях небольшого креслица из вишневого дерева, принадлежавшего бабушке с материнской стороны.

Боясь нанести себе оскорбление, я отвергал горы. Как будто мне нужно взбираться на них, чтобы возвыситься! Я их упразднил.

Разве я не ношу в себе Пиренеи и все морские берега?

Чтобы доказать себе это, я долгое время сидел у ворот своего города, отказываясь от путешествий.

Где-то в других местах – его зубы и волосы. В Шарру, в провинции Пуату, хранится крайняя плоть Бога, а в Реймсе – слепок с его ягодиц. (Каталог священных реликвий, страницы 101 и 128.)

22

– Как же чудесно высказывание Кальвина о том, что месса – это Елена. Только ненависть способна похвалить нас лучше, чем любовь; я хочу сказать – более достойно.

– Создавая ложные перспективы и многочисленные уровни, вы сможете придать своему Саду, сколь бы мал он ни был, огромные пропорции.

– Ничто так не напоминает руки самых прекрасных фигур на распятиях из слоновой кости, как лапки крота.

– По вечерам, когда лес превращается в аквариум, колеблешься, не в силах поверить в реальность некоторых видов дичи – настолько неправдоподобно они выглядят: так некогда Беллерофонт не сразу поверил в реальность Пегаса или Химеры. Но на следующее утро замечаешь на паркете у себя в спальне следы – вполне очевидные, даже неуничтожимые.

– Мало кто знает, что из-за того, что тополя благоприятствуют росту сорняков у своего подножия, их не сажают на лугах – к величайшему сожалению Небес.

– Что за взгляд у лошади – это выражение сравнимо с глубоким милосердием, даже превосходит его.

Однажды Аламбер в задумчивости произнес, что любое животное – в той или иной степени человек, любое растение – в той или иной степени животное, любой минерал – в той или иной степени растение; что в природе нет никаких барьеров.

23

– Что меня обнадеживает: жизнь и наше воображение следуют рядом, бок о бок; и то и другое одинаково невероятно.

– Зоология и ботаника не столь чужды Богу и человеку: они помогают нам лучше узнать самих себя, а зачастую и Бога, подобно антропологии и теологии.

– Не Вселенная ли в большей степени антропоморфна, чем человек космоморфен? «Почти столь же человечен, как его коза», – сказал когда-то Лонг.

Я то и дело поглаживаю книгу, которую так и не смог прочитать, но одно только название вызывает у меня немой восторг: «Теология насекомых».

Войти во тьму самого себя, как входит слепорожденный в этот мир, где осязание заменяет ему зрение. Сознание гораздо больше подобно вслепую шарящей руке, чем глазу.

24

Преследуешь скрытую цель, о которой никто не догадывается и о которой даже не знаешь сам.

Там, где воображение бессильно, главная роль принадлежит душе. Чем больше отвергаешь реальность или реальность отвергает тебя, тем больше погружаешься в мир своей души.

«Я люблю поэзию, – говорил мне кто-то, – но поэзия меня не любит». Идешь навстречу тому, чего страшишься, чтобы в конечном итоге неизбежно сделать его частью себя и научиться с этим жить. Сначала долго работаешь над тем, чтобы обнаружить у себя тайную рану, происхождение которой не можешь себе объяснить, а потом всю оставшуюся жизнь стараешься ее замаскировать. На глазах у всех каждый вроде бы преследует цель, которая всем известна – но втайне он преследует другую, о которой никто ничего не знает и которую сам он может осознать только случайно, а порой и вовсе никогда. Разве что в результате какого-то серьезного потрясения, которое может оказаться для него губительным, и тогда люди захотят объяснить то, чего они не знают, тем, что они знают. Больше того: каждый следует своим навязчивым идеям, фатальность которых его не

заботит. Фатальность следует своим путем, не обращая внимания на чьи-то навязчивые идеи. Это неустранимое недоразумение и вечный источник ошибок, в том числе и судебных.

Элиза¹ порой задает мне вопросы, на которые я отвечаю: «Я был бы сумасшедшим, если бы так поступал». Но именно так я на самом деле и поступил или собираюсь поступить.

Между тем, что делаешь по привычке, и тем, что только хотел бы сделать, возможно, нет ничего общего, кроме чувства противоречия. То, что делаешь по привычке, – чаще всего не самостоятельное действие, а некий противовес тому, что хотелось бы сделать.

Свое удовольствие понятно только себе. Каждый в одиночестве владеет тайной своего удовольствия.

Удовольствие каждого не должно зависеть ни от кого и ни от чего – но всё для каждого должно зависеть от его удовольствия.

И конечно же, ничто не должно быть для человека более значимым, чем его мечта, которую он должен суметь встроить, даже насильственно, в любую реальность.

Мечта отнюдь не означает отторжение какой-либо части реальности.

1 Элизабет Тульмон по прозвищу Кариатида (1888–1971) – танцовщица, на которой Марсель Жуандо женился в 1929 г. Безуспешно пыталась «отучить» мужа от гомосексуальных наклонностей.

Прежде чем быть, и для того, чтобы перейти от небытия к бытию, мы накапливаем опыт, который нельзя выразить на человеческом языке, и о котором, без сомнения, мы храним смутное, затуманенное воспоминание, чей след запечатлен в самих наших желаниях.

26 Если бы я был убийцей, я бы познал удовольствие убивать. Если бы я был вором, если бы я был развратником – каким был бы тот особый сорт разврата, ради которого я был создан? Если бы я был честным человеком, я бы узнал об этом только благодаря моей жертве: в этом и заключается мораль. Некоторым людям не доставляет удовольствия ни убивать, ни грабить, ни развратничать тем или иным способом – они наслаждаются лишь собственным вселенским не-существованием.

У каждого есть тайное желание, но он и сам не знает, что ищет – до тех пор, пока не найдет. Каждый узнаёт то, что уже знает, только в результате опыта.

У меня есть некое желание; но я узнаю о нем только по тому особому волнению, которое охватит меня в присутствии того, что я искал. Как бы я узнал о нем заранее?

С приближением того, что я ищу, с приближением времени и места, которые вот-вот предоставят мне объект моего желания, – трепет, охватывающий все мое существо, придает мне уверенности, и некая разновидность смерти, поразившая меня, свидетельствует мне о жизни, дает мне жизнь, дает мне ключ от моей Тайны.

Горе тому, кто захочет отказаться от своего желания ради того, чтобы жить в мире с самим собой. У некоторых нет желаний. Ни в этом мире, ни в любом другом ничто не сможет их взволновать. Они, можно сказать, не существуют. У них нет призвания.

У других никогда не находится достаточно любопытства или отваги, чтобы решиться на опасное путешествие к своему тайному желанию. Они предпочтут прятать его от себя самих, угнетать и истощать, питая фальшивыми надеждами. Трусость или мудрость?

С этого момента наступает спокойствие: таков случай истово верующего, который, перед тем как надеть зеленые очки, полностью гасит в себе тот пыл, что некогда пробуждал в нем вид розы.

Я вижу проходящего под моим окном простолюдина, возвращающегося с рынка. В руке у него сетка с провизией, он бедно одет, – но рядом с ним по бордюру тротуара идет его дочь, девочка десяти лет, разодетая как принцесса: изящные сапожки, пальто с меховой оторочкой, муфта, шляпка с лентами. Сегодня обычный будний день, но разве это важно? У него выходной, и он хочет, чтобы это был праздник. Благодаря куколке, семящей рядом с ним, он постепенно обузывает свои былые страсти. Теперь его единственная повелительница – его дочь, рожденная от его удовольствия и научившая отказываться от этого удовольствия ради любви к ней, повиноваться своему сердцу, а не своим прихотям.

Наши желания одиноки и обособленны как от нас самих, так и друг от друга – они почти никогда не объединяются, зачастую друг друга игнорируют, порой вступают в противоборство, иногда одно подчиняет себе другое. Редко когда одно из них властвует над нами безраздельно, победив все остальные; отсюда недостаток лиризма, отсутствие гениальности.

28

Кто-то приносит в жертву своему желанию все, что оно от него требовало – и вот, словно нежный вкус, словно тонкий аромат, словно непонятное очарование, ускользающее от любых попыток понять его природу, словно безымянное видение, – неодолимая притягательная сила увлекает его за пределы самого себя, в глубины преисподней, погружаясь в которые, он никогда не узнает в точности, ради чего же погиб.

d. Сны

Я нуждаюсь во сне меньше всех; для меня сон похож на фарс.

Если в доме собираются гости, я приглашаю их остаться ночевать, и, когда все засыпают, я некоторое время смотрю на них. Нет ничего более уродливого, чем спящие мертвым сном люди; я убегаю от них, словно спасаясь.

Могу ли я заснуть? Сон ускользает от меня, а когда я уже не хочу больше спать, он приходит. Этот вечный конфликт между сном и мною нако-

нец приводит к тому, что я проваливаюсь в какую-то бесконечную бездну, столь же близкую к смерти, сколь и к безумию.

Теперь я пребываю между вечным сном и вечной бессонницей, и это осознанное состояние полусна-полубодрствования загадочным образом благоприятствует пробуждению дара ясновидения – особенно если оно достигается без помощи искусственных средств; греза без всяких усилий становится переводчиком с тайного языка или, скорее, самим этим языком: именно в такой форме приходят внезапные открытия – я хочу сказать, откровения – о самом себе.

29

Так, например, во сне я представляю себе высоту гораздо лучше, чем наяву. Она в тысячу раз более ощутима для меня. Я хочу сказать, что сон делает ее для меня более реальной, чем могла бы сделать сама реальность.

Кто сказал, довольствуясь лишь видимостью, что сон – брат смерти? Смерть, без сомнения, – это именно что окончательная и бесповоротная невозможность заснуть.

Я вполне осознаю, что порой во сне встречаю то, в чем жизнь мне отказывает.

Например, ночью я ощущаю свое тело так, как никогда не чувствую его во время бодрствования. Я представляю его себе некой расплавленной массой, в которой заключена моя глубинная сущность. Меня терзают приступы боли, и только благодаря ему я могу определить, из каких глубин исходят эти атаки: то здесь, то там словно вспыхивают, поднимаются, разветвляются языки пламени, принимающие формы человеческих лиц, животных, растений, деревьев – и все это живет во мне. Вся эта флора и фауна кружится и кривляется, и я уже не знаю, ни где я, ни кто я, ни что я – сам свой собственный ад. Так золото в тигле

отделяется от оболочки жильной породы и, чтобы от нее избавиться, ломает ее.

30 Из этих снов я возвращаюсь с охапками цветов, в окружении фантастических животных, которые сопровождают меня весь день. Но увидеть их можно лишь изредка, и каждый раз изумляешься, когда они на миг возникают перед тобой и тут же снова исчезают. Иногда не только я, но и другие мельком их замечают и, глядя на меня едва ли не с ужасом, спрашивают: «А это еще откуда?», после чего спешат оставить меня одного, растерянного и сбитого с толку, на растерзание этой чужеродной флоре и фауне.

Кто даст мне средство, которое позволит совершить прыжок в неизведанное, пересечь границу между мной и мной, между тем, что я думаю, будто хочу, и тем, что я хочу на самом деле, между тем, чем я хочу быть и тем, что я есть, между тем, кем я хочу быть, и тем, кто я есть.

Треволнения сна ценны тем, что порой становятся источником глубоких откровений; они единственные проводники, которыми мы располагаем на пути к самим себе, они способны смягчить истину; благодаря им раскрывается Тайна.

Во мне есть нечто неизвестное, но невероятно притягательное. Я не знаю и не хочу знать, что это. Но перед этим влечением не устоять!

Какой прекрасный субботний вечерний свет вчера озарял все вокруг! Мне привиделось, что я спокойно сижу у окна в своей юношеской комнате, а из мясницкой подсобки¹, расположенной на-

1 Отец Марселя Жуандо был мясником.

против, доносится громкая перебранка. Она все разгорается, от нее буквально начинают дрожать стены; потом кто-то оттуда выбегает, а какой-то подросток лет шестнадцати – может быть, это тоже я – дрожа от страха, заходит внутрь. Я слышу его отчаянные мольбы, которые оказываются напрасными – двое мужчин с обнаженными по локоть окровавленными руками, в заляпанных кровью белых фартуках, бросаются к нему, один из них выхватывает из-под фартука погасшую головню с острым концом и выкалывает ему глаза. Его крик отдается у меня в груди, но не это самое ужасное: палач вкладывает в руки жертвы какой-то предмет, который оказывается зеркалом. На всю жизнь я запомню – лучше, чем что-либо, случившееся наяву, – этого слепого, лихорадочно вцепившегося в зеркало, которое он держит у самого лица, тщетно пытаюсь увидеть в нем свое отражение – без сомнения, incapable сразу осознать свою слепоту.

31

Потом мне снится, что я играю в китайские игрушки – прозрачные стеклянные кубики, в каждом из которых, словно в своем отдельном мире, неподвижном и недостижимом, существует тот или иной персонаж: врач-окулист, убийца, па-стушка и т.д.

Как глубока эта бездна, где сияют столь яркие, неугасимые огни и откуда изливаются порой бурные потоки наслаждения.

Кто вернет мне две таинственные, закутанные в бархат фигуры в золотых масках и мое граничащее с ужасом изумление при виде дерева, сплошь покрытого цветами и плодами, которое неожиданно выросло из ниоткуда в тот самый момент, когда меня вот-вот грозил раздавить полицейский автомобиль?

Оно возвысилось надо мной с воистину королевским величием и спокойствием – руки-ветви уперты в бока, пурпурная цветочная мантия ниспадает до земли; вид приветливый и недостижимый одновременно, а на коленях, совсем близко от меня, – гнездо голубки.

32

Тот самый демон, которого я заметил днем на дороге, теперь прячется в студии – но напрасно я пытаюсь произнести заклинание: голос отказывается мне повиноваться; тогда я принимаюсь танцевать перед этим существом, вид которого вызывает у меня отвращение, и быстрый ритм моих движений защищает меня и освобождает – он настолько головокружителен, что, когда я просыпаюсь, голова у меня и впрямь кружится.

Я вместе с другими людьми нахожусь под плотным покрывалом, по которому ходят львы, тигры и быки, пытающиеся вспороть его, чтобы затем растерзать нас; или на берегу зловещего темного омута, чья глубина угадывается сквозь заросли кувшинок, – протягиваю руку к ребенку в белых одеждах и со всем красноречием, на которое способен, объясняю ему, что он неминуемо погибнет, если сделает еще хоть шаг, но он уклоняется и в следующий миг исчезает под водой, а я не в силах даже пошевелиться, чтобы его спасти.

Я решил провести ночь под открытым небом в Гранше, чтобы наутро увидеть восход солнца, – и вот я лежу, растянувшись на земле, в полной темноте, которую тени каштанов делают еще гуще, а вокруг царит такая тишина, что порой мне кажет-

ся, будто мое сердце перестало биться, а мир – вращаться, и вдруг кто-то кашляет буквально у меня над ухом!

Этот негромкий звук воспринимается как оглушительный раскат грома, от него у меня взрывается мозг – или сама Вселенная раскалывается сверху донизу, – и я, оцепенев от ужаса, так и остаюсь рядом со своим неожиданным компаньоном, другом или врагом, незнакомым и невидимым, от которого неизвестно чего ждать – может быть, он сейчас поднимется и подойдет ко мне для того, чтобы задушить или расцеловать.

33

Иногда мне снятся запахи – приятные или неприятные. Запах от пятна на одежде А., который я ощущаю слишком близко, вызывает у меня тошноту, и я просыпаюсь больным.

Закрытый концерт, на который я по договоренности пришел к двум часам дня на рю Ренуар, приводит меня в восхищение, и мое лицо начинает пылать так сильно, что это вызывает беспокойство у окружающих.

В саду моей матери в G. порхают тучи фантастических бабочек с человеческими глазами, внимательными, даже слишком; одна прекраснее другой, такие яркие и разноцветные, что от их вида слепит глаза, но столь огромные и многочисленные, что вселяют в меня ужас – их лапки и усики, касаясь друг друга, скрежещут, словно клешни раков.

Единовластный повелитель мира, я дарую всему объединенному человечеству прекрасный воскресный день, приправленный горечью моих забот. Завтра, в понедельник, я почувствую некоторое умиротворение, но вскоре умру, сраженный болезнью и обезумевший от одиночества.

Случаются особого рода воспоминания, от которых на целый день захватывает дух. На память приходит какая-то деталь, которую некогда уже видел, хотя не помнишь, где именно, и не сразу можешь точно распознать. Речь может идти о каком-то предмете мебелировки, о пейзаже, аромате, обрывке разговора, детали внешности, о мимолетном выражении лица, знакомого и в то же время анонимного – и вас охватывает счастье, сожаление, желание... Вам хочется узнать, увидеть больше. Вы вспомнили, что были счастливы в этом месте, из-за той или иной вещи, того или иного существа – но когда? где именно? Это напоминает полузабытый сон, который не запечатлелся в памяти во всех подробностях, хотя порой отражает самые глубинные, самые устойчивые аспекты нашего опыта, – может быть, того единственного раза в жизни, когда мы были по-настоящему счастливы, – и вселяет в нас то чарующее, волшебное ощущение, сохраняющееся на протяжении всего дня или даже всей жизни, – даже нечто большее, чем волшебство: целую науку, научную уверенность в том, что у нас есть тайна, нечто столь редкое и драгоценное, что мы прячем это, укрываем подальше даже от самих себя, чтобы тем надежнее сохранить.

Этим утром мне приснилась моя сестра – она выходила замуж, и свадебная церемония была устроена с большой помпой, а мне было нечего надеть, кроме старых вещей отца. Мои ноги двигались туда-сюда в его слишком больших башмаках, а черная драповая пелерина волочилась по земле. По случаю торжества состоялась месса перед алтарем Святой Девы. Из-за моего костюма

меня не пустили на клирос, но, преклонив колени возле балюстрады и опустив голову на руки, я ощутил присутствие Бога рядом со мной – так близко, что, несмотря на свой нелепый вид, преисполнился сознанием собственного благородства и таким огромным и внезапным счастьем, что оно меня буквально опьянило. Вопреки притче, этот внутренний свет не преобразовал мою убогую одежду, но сделал ее чем-то совершенно несущественным.

35

Позже я увидел во сне прием в каком-то благопристойном буржуазном доме, на который заехала негритянка, разряженная и напыщенная сверх всякой меры; от меня требовалось всего лишь не засмеяться, но это оказалось сильнее меня, и я расхохотался так громко, что от этого проснулся. Негритянка? Элиза, я так полагаю?

Еще один сон: я оказываюсь в лесу, где какие-то пигмеи собираются меня убить. Перед смертью я обращаюсь к ним с речью, последнюю фразу которой произношу, уже полностью проснувшись: «Там, где преступление царит повсеместно, общество является варварским». Или, например, во сне я слышу, как мадам Леру утверждает: «Я могла бы сделать все что угодно, ничем себя не выдав, даже не покраснев, – вот как если бы руки у меня были отрезаны и жили сами по себе: откуда мне знать, что они делают?»

Иногда мне снится, что я объясняю матери Священное Писание – во сне я слышу свой собственный голос, произносящий: «Вечность – это все присутствия разом»; в другой раз я пишу под диктовку кого-то неизвестного: «Только я могу удержать светила на поводу». В то же самое вре-

мя я наблюдаю, как под воздействием двух божественно прекрасных рук, в сиянии, не сравнимом с тем, что можем видеть мы в окружающем нас мире, – формируется новая Вселенная, где растут цветы столь огромные и мощные, что они закрывают собой все дороги, и нужно раздвигать или приподнимать их заросли, чтобы идти вперед. Все жители города спят за длинным столом, стоящим прямо на улице, а в центре стола стоит канделябр моей бабушки, в котором горит одна-единственная свеча. Над крышами домов возвышается колокольня, а между домами стоит каменное здание наподобие грота; сквозь открытые окна видно мельтешение разноцветных женских накидок и черных развевающихся фалд мужских фраков – зал заполнен множеством танцующих пар. В какой-то момент доносящаяся изнутри музыка становится столь завлекательной, что колокольня раскачивается из стороны в сторону, а дома начинают кружиться.

Тогда я вхожу в грот и присоединяюсь к собравшимся. Меня окружают фантастические создания; они говорят со мной на том знакомом мне по временам моего детства языке, к которому я столь чувствителен. Чистота, которой я проникся в этом сне, по-прежнему осеняет меня – так что я уже не уверен, что описанные события не происходили в реальности и что мое сердце не могло освободиться от своей греховности и наяву. Все же мы не напрасно путешествуем по этим безмятежным краям, побуждаемые к тому тем возвышенным чувством, которое, без сомнения, носим в самом средоточии своей души.

Часть вторая

37

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ. – САМЫЕ РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

I

Однажды утром – мне тогда было, кажется, лет семь – добрая Роза, моя кормилица, в отсутствии родителей готовила мне завтрак в комнате, которая служила кухней, столовой и спальней одновременно. С нами был еще один человек – подручный мясника, которого все называли почему-то «Помпей Великий». Без сомнения, я вызвал у него какую-то особую неприязнь, поскольку он наконец воскликнул с неподдельным негодованием или, может быть, отвращением: «Вот увидите, Роза – этот мозгляк рано или поздно сгниет в тюрьме!» Вообще-то в детстве я был образцом мягкости и послушания. Поэтому пророчество звучало странно. Что же такого я мог натворить? До сих пор не могу понять, что было причиной этих слов – я не помню ни одного проступка, ни одного проявления невоспитанности, которые могли бы их оправдать. Знаю только, что проклятье было произнесено. Тем, что я не забыл его, я

обязан моей доброй старой Розе – и дня не проходило без того, чтобы она не напомнила мне о нем, но не для того, чтобы меня попрекнуть, а единственно ради того, чтобы выразить свое возмущение «Помпеем Великим».

38

Замечу кстати, что если бы вместо «тюрьма» прозвучало «преисподняя», это показалось бы эвфемизмом. А почему, собственно? Тут явная непоследовательность.

II

Кажется, уже чуть позже этого случая брат моей матери, которому было тогда около тридцати, некоторое время делил со мной кровать. По утрам он спал допоздна, и я, делая вид, что тоже сплю, пользовался случаем, чтобы придвинуться к нему вплотную – постепенно, сантиметр за сантиметром, находя особое чарующее удовольствие в этой терпеливой медлительности. Мне хотелось прижаться своим телом к его телу в самом секретном месте, но плотная ткань защищала его так хорошо, что я лишь ощущал его жар, даже сквозь собственную рубашку, и вдыхал его возбуждающий запах, по мере того как его широкая волосатая грудь, видневшаяся в просвете полурасстегнутой фланелевой рубашки, распалая мое воображение, отчего я начинал представлять себе перспективы все более загадочные; порой мне казалось, что среди этой густой растительности, темной и курчавой, прячутся, словно в лесу, какие-то звери, которые притягивали меня тем сильнее, чем больше я их боялся.

III

В те времена часто случалось так, что летом мы с компанией мальчишек, моих сверстников, и таких же девчонок гостили в деревне у моей бабушки с отцовской стороны, в двух километрах от города. Бабушка ничего от нас не требовала, кроме того, чтобы мы не устраивали беспорядок и не беспокоили ее. Она предоставляла в наше распоряжение прачечную, где мы тут же запирались и начинали играть в «дамы-господа». Мы устраивали свадебные церемонии, со всей подобающей пышностью, с подвенечными нарядами, шлейфами, вуалями, венками из цветов, собранных в саду. И вот, оказавшись у себя дома, новобрачные «трахались». Разумеется, это не выглядело как проникновение члена куда бы то ни было – мы даже не представляли себе, как это делается, да и в любом случае вряд ли смогли бы это осуществить. Вместо этого мы довольствовались следующим: девчонки ложились на пол, задирали юбки и рубашки, раздвигали ноги – а мальчишки писали на них, стараясь, чтобы струя попала точно в промежность и затекла внутрь – это часто приводило к тому, что девчонки тоже начинали мочиться, словно в ответ. Моча смешивалась и растекалась по вымощенному плиткой полу, что вызывало и у «новобрачных», и у зрителей приступы дикого хохота – бесстыдного, языческого, вакхического, в котором звучала гордость молодых самцов и лишенное всякой нежности любопытство юных самок. Потом все приводилось в порядок, девчонке засовывали под платье куклу – младенца, которого затем в процессе «родов» извлекали на свет.

Бабушка, в свое время хорошо пожившая, разумеется, догадывалась, что в прачечной творится

«всякое», но, должно быть, думала что-то вроде «молодо-зелено», улыбаясь про себя.

IV

40

Чуть позже, научившись читать, я прочел случайно попавшееся на глаза послание на двери стоявшего во дворе туалета, написанное рукой того самого подручного мясника и адресованное, кажется, гладильщице, жившей в одном из верхних помещений для слуг: «Несчастливая Жозефина, я вылечу твою хворь: целебный корень растет между моих ног, и если захочешь, я всажу его между твоих». Некоторые из этих слов мгновенно распалили мое воображение. Я осознал всю их непристойность, поскольку к тому времени уже знал кое-что из мифологии.

V

Произошло ли это на следующий день? Около полудня я играл в мясницкой, хотя мой отец этого не одобрял, и тут один из работников, здоровый и добродушный светловолосый парень лет двадцати – «белобрысый великан», как я его дразнил, – осторожно взял мою руку и, сунув ее себе под фартук, подвел поближе к ширинке. Я не понимал, что ему от меня надо; тогда он пообещал показать мне «птичку» – и в самом деле, я видел, как под тканью что-то движется. Через некоторое время после обеда он позвал меня во двор, где в этот момент никого не было, и завел в угол конюшни. Там он расстегнул штаны и показал мне издалека непонятный предмет, чьи размеры были такими

огромными, а форма – такой необычной и неуловимой, но при этом возбуждающей во мне такое жгучее любопытство, что я в первый момент даже подумал, будто он меня разыгрывает, а на самом деле это какой-то цветок, фрукт или овощ, спрятанный у него под рубашкой.

В тот же вечер я сам разыскал его в амбаре, где хранился овес. Заперев дверь на засов, он разделся передо мной, без всякой нарочитой непристойности, открывая свой торс, а затем член, с почти благоговейной торжественностью, словно демонстрируя чьему-то опасно-восхищенному взору священную реликвию из иного мира, драгоценный и таинственный фетиш, запретную святыню, которая внушала изумление даже ему самому; в этом не было даже намека на получение удовольствия – разве что он наслаждался моим волнением, удивлением, оцепенением при виде того, что он мне показывал. Едва лишь моя крошечная рука по его приглашению коснулась этого предмета, парень вздрогнул всем телом, и молочно-белый сгусток, похожий на рыхлый шелковый клубок, окутал его крайнюю плоть, раздувшуюся так, что казалось, будто она вот-вот лопнет.

Пару дней спустя, или даже на следующий день (нас видели вместе?), этот парень, принадлежавший к почтенной и зажиточной крестьянской семье, был уволен моим отцом под предлогом воровства, скорее всего надуманным, к великому отчаянию двух его старших сестер, красивых белокурых девушек, похожих на него как две капли воды на третью, чьи залитые слезами профили сохранились в моей памяти по обе стороны от его лица.

В моей душе это отправное событие было окутано столь романтическим флером, столь плени-

тельная тайна возникла между этим человеком и мной, что для меня он не нуждался в оправданиях, что бы мне о нем ни говорили. В восемь лет я был вполне способен хранить тайну. Тем более благоговейно, что дядя этого несчастного, старый башмачник, живший по соседству, качал меня на руках еще в младенчестве – это лишний раз подтверждало, что ничего дурного для меня из той семьи исходить не могло. Об этом говорила и сама та манера, мягкая и деликатная, почти буколическая, с которой он показывал мне свой «живой корень» – я навсегда сохранил в глубине души это воспоминание во всей его первозданной свежести, словно высланное мхом гнездо голубки в гуще ветвей. С тех пор никакое удовольствие не смогло заставить меня забыть того искреннего, невинного волнения, которое мы оба испытывали от присутствия друг друга. В иных обстоятельствах все могло бы обернуться гораздо хуже. Однако эта авантюра все же произвела во мне некое душевное смятение – возможно, оттого, что не вполне соответствовала моим сложившимся представлениям о Творце и Человеке. Мне стало казаться, что я ношу в своем теле какой-то чудовищный механизм, который вдруг сам по себе включился и заработал, и я ничего не могу с ним сделать – даже понять. Но в конце концов я предпочел именно это: не понимать, не вникать в то, что я знал или о чем догадывался из всего того, что недавно видел и осязал. Я не мог четко сформулировать свои открытия, но твердо убедился в одном: гораздо проще постичь и принять тайны души, чем тайны Зверя – и при этом сколь же притягателен Зверь для Души, с того момента как она узнает, что неразрывно связана с ним! Подчиняет ли он ее себе или же сам ей служит? В этом вся суть человеческой драмы.

Период, предшествующий сознательному возрасту, – пора невинности, которую никакой опыт еще не может замутить. Лишь позже в нас поселяется зло, и с этого момента с чистотой покончено. Для меня великое счастье вспоминать свою детскую инициацию без всяких угрызений совести – поскольку тогда имела значение только моя фантазия и гораздо более чудесная и могущественная фантазия самой Природы, которую я открывал в себе и вокруг себя, ни осуждая ни ее, ни себя самого. Золотой век души и тела, их непостижимого единства, предшествующий истории.

Однако, говоря со всей откровенностью, я не могу отрицать, что эта встреча, слегка преждевременная, оставила в самых глубинах моего существа слишком жгучее воспоминание, слишком стойкий образ, которые позднее предопределили мои тайные наклонности и мою неуравновешенность в проявлении чувств. Но Боже меня упаси жаловаться на эту боль. Если бы у меня не было никаких сложностей с самим собой, какой интерес представляла бы для меня моя жизнь?

VI

Мне было лет десять-одиннадцать, когда я познакомился с одним мальчиком, своим ровесником, сыном маляра, по имени Беат. В первый раз он заговорил со мной по дороге в гости к моей бабушке, во время одной из тех общих поездок, о которых я уже рассказывал. Он поделился со мной тем, что знал об удовольствии, которое мужчина доставляет женщине, и стал убеждать меня, что для получения этого удовольствия женщина не нужна, что он может доставить его себе и са-

мостоятельно. Позже, на чердаке небольшого заброшенного дома, куда мы вдвоем поднялись, он мне это продемонстрировал: опустившись передо мной на колени, он начал ласкать меня так настойчиво, что спустя недолгое время (это было в первый раз), мой детский отросток стал приподниматься, в то время как Беат то и дело повторял: «Вот видишь! тебе это нравится! ты весь распался! я делаю тебе хорошо! тебе от этого хорошо!» Больше всего мне нужно было, чтобы он это утверждал. И вот в какой-то момент я вздрогнул всем своим существом, словно предчувствуя жестокую пытку со смертельным исходом, и в глубинах моей плоти, в самом сокровенном жизненном центре, что-то беззвучно взорвалось – или мгновенно расцвело? – я вскрикнул и в ужасе взглянул на своего приятеля, как будто должен был вот-вот умереть по его вине и, уже не в силах говорить, этим последним взглядом требовал объяснить, что случилось. Должно быть, я страдал, и страдал мучительно: мое лицо исказилось и даже задержалось, но Беат уже начал походить на меня – теперь он ласкал себя самого, и вскоре я увидел, что он стал жертвой того же опьянения, которое владело мной: он словно оцепенел, его лицо покраснело, выражение изменилось почти до неузнаваемости, застывший взгляд помутневших глаз был неотрывно прикован ко мне. Его гримасы, его лихорадочная дрожь, его волнение меня успокоили: они объяснили мне мое собственное состояние; значит, «сладоистрастие» – это оно? Первоначально я почувствовал ненависть и отвращение к тому, кто дал мне его узнать, но по некотором размышлении я стал испытывать все более жгучий интерес, возрастающий по мере того, чем более опасным оно мне казалось, к этому сходному с

паникой состоянию – к этой власти над самим собой, к этой возможности на миг выйти за пределы самого себя и приблизиться к границам смерти и безумия.

Долгое время я думал, что с этого момента вся жизнь станет для меня одним сплошным сюрпризом, что Беат научит меня еще тысяче и одному способу достигать этого «сумасшествия», как я предпочитал называть сладострастие, и постоянно донимал его просьбами открыть мне и другие тайны. Почему бы каждой части моего тела не таить в себе какие-то свои неизвестные способности – подобно той, о чьих способностях я уже узнал? Я ждал от своего наставника новых бесчисленных открытий. Увы! он сообщил мне, что все удовольствие, которое может получить мужчина, сводится к этому, – но что ход, ритм и антураж процесса можно варьировать до бесконечности. И вот мы меняли позы, меняли места, поднимались в горы, углублялись в лес, заходили в воду, старались изобрести какие-то новые приемы в надежде усугубить удовольствие. Однако извергнуть семя мне впервые удалось лишь в одиночестве.

45

Охваченный болезненным сладострастием, я должен был признать, что лишь избыточность моих поллюций и опасность, которой они подвергали мой рассудок, здоровье, самоуважение и внутреннее достоинство, – заставляли меня в мои двенадцать лет мечтать о подчинении правилам: мне хотелось, чтобы существовал свод моральных законов, а также некая служба спасения, которая помогала бы их соблюдать, – иными словами, религия; без сомнения, та религия, которую внушали мне в семье и в церкви, так и осталась бы для

меня мертвой догмой, если бы я не осознал, именно по причине моих слабостей и тех смертельно опасных глубин, куда они меня затягивали, – ее обоснованность, полезность, ее насущную, повелительную необходимость. Поэтому сегодня для меня столь очевидно, что те, кто никогда не испытывал сложностей в общении с собой, ничего не знают ни о добре, ни о зле, равно как ни о моральном Законе, ни о Благодати.

46

И Боже меня упаси им завидовать.

Чуть позже уединение моей спальни стало для меня и моих приятелей, которые приходили обсудить со мной свои трудности, новым искушением предаться разного рода трюкам, но отныне я соглашался на это лишь против воли и не мог не замечать, что, помимо сомнений и угрызений совести, меня отличала от других та серьезность, с которой я относился к удовольствию, и то пылкое рвение, которое было мне присуще и всегда сопровождало меня в грехе, на котором, казалось, полностью сосредотачивается. Иными словами, моя чувственность была такого свойства или такой природы, что отдаляла от меня окружающих, которые воспринимали ее с удивлением, едва ли не с ужасом. Эта лихорадка изолировала меня от их легкомысленных развлечений, и в конце концов я прогонял всю компанию, чтобы с удвоенным пылом сражаться с самим собой в одиночестве.

Впрочем, эти предосудительные занятия не выглядели чем-то позорным в наших глазах. Они не порождали в моих компаньонах ни малейшего стыда за себя, ни какого-либо неуважения ко мне. Они казались нам естественными – как если бы в нашем возрасте просто не существовало других

способов облегчить душу; и Бог знает чего только мы не насмотрелись и не наслушались в школе, на уроках и на переменах – перед этими разнузданными забавами и разговорами наши собственные совершенно поблекли: интерны жили в состоянии неутихающего гипервозбуждения, сводящего с ума, и единственным их оправданием было то, что эротические игры, их единственное развлечение, являлись для них своего рода лекарством. Затворники, изнывающие в своем принудительном заточении, они стремились вызвать у себя усталость, род некоего блаженного забытья, которое приносит с собой переутомление, физическое истощение – естественное следствие онанизма, и у них было абсолютно четкое понимание, что их действия не сводятся только к тому, чтобы доставить удовольствие себе или друг другу – что они делали за неимением лучшего, – сильнее всего им хотелось больше не жить среди себе подобных и дожидаться наконец того дня, когда они смогут приблизиться к женщине. Разумеется, и я долгое время разделял с ними эти ожидания.

47

VII

Вскоре после того, как мне исполнилось пятнадцать, отец отправил меня в деревню – присутствовать на погребальной церемонии. Умер его друг, у которого остался сын, старше меня года на два. Я не сразу увидел этого подростка, окруженного собравшимися. В тот момент, когда я его заметил, он сидел на полу, положив голову на колени женщины – очевидно, матери, заплаканной, облаченной в траур. Было ли то очарование скорбью, столь благоговейной, или подействовала атмосфера

этого места, или необыкновенное обаяние самого подростка – так или иначе, я впервые в жизни испытал потрясение такой силы, полный разрыв между разумом и сердцем: моя чувственность мгновенно преобразилась, и я познал страсть. Этот молодой человек был красив по-настоящему трагической красотой – бледное лицо с тонкими чертами, такие же бледные руки, высокий рост, стройная осанка. В ту же секунду он стал для меня «единственным» – никого другого я больше не видел, и никто больше не занимал мои помыслы; в мгновение ока он проник в средоточие моей души и одновременно создал вокруг себя пустоту – там, внутри меня, заняв мое собственное место, которое я ему уступил, а сам отходил все дальше и дальше. Возвращение домой стало для меня пыткой и смертью. Я сразу ушел к себе и заперся, чтобы думать о нем. Я целыми часами писал то ему, то себе о нем, потом перечитывал эти страницы и рвал их. Вскоре я доверил мою новую тайну Жанне, которая любила меня так же, как я любил Л. С., и мы принялись вместе рисовать для него открытки, которые я дополнял трогательными надписями.

Поскольку ничто не казалось мне более благородным и в то же время более далеким от всякой нечистоты, чем пылкое чувство, соединяющее меня с незнакомцем, я, разумеется, даже и не думал испытывать из-за этого сожаление, – но Жанна, заставляя меня читать все то, что писали святые отцы об опасности неумеренных дружеских привязанностей, добилась результата прямо противоположного: во мне лишь укрепилось более серьезное отношение к страсти как таковой и

более глубокое осознание силы страсти моей собственной. Невыразимая меланхолия, овладевшая мной, едва не привела к смертельному исходу. Из-за невозможности по-настоящему соединиться ни на одном человеческом плане с единственным существом, всецело заполнившим меня собой, я решил себя убить, выпив флакон ароматической эссенции – но поскольку это, разумеется, привело лишь к недомоганию, я еще сильнее возненавидел свою жизнь и еще сильнее стал желать смерти, однако она меня не пожелала, и в конце концов, не в силах признать очевидность того, что я стал жертвой порочной или, в любом случае, ненормальной склонности, и в то же время сознавая, как мало у меня шансов встретить на этой земле Друга, кто сможет разделить возвышенность и пылкость чувства, на которое я буду способен по отношению к нему, – я решил, что мне остается только два пути: связать свою судьбу с юной девушкой, которая станет моей женой, или посвятить себя Богу. И сразу вслед за этим у меня появилась твердая уверенность, что я должен остановить свой выбор не на Жанне, связь с которой могла стать благодатной почвой для смертельно опасных усад – поэтому я сделал резкий поворот и ни с того ни с сего обратился к ее младшей сестре Валентине, столь же невежественной, глупой и похотливой, сколь сама Жанна была утонченной, образованной и возвышенной. И одновременно с этим я совершил точно такой же крутой поворот к миру, столь же внезапный, сколь и практичный: я наконец-то в полной мере ощутил почву под ногами и вспомнил, что дважды два четыре. Контуры окружающих предметов стали отчетливее. Кровь быстрее заструилась в жилах. Вечность утратила свое значение, и настоящее заиграло всеми красками. Од-

нако свежестью этого первоначального ощущения единства с Реальностью я упивался слишком жадно, и вскоре от нее ничего не осталось. Или виной тому были недостатки моей партнерши? Так или иначе, почти сразу же я решил, что создан для одного только Бога.

50

Без сомнения, было нечто слишком своевольное, умышленно-драматичное в моем решении стать таким же, как все, чтобы видеть в нем что-то кроме вызова, азартной игры. Деревья вдруг показались мне слишком настоящими для того, чтобы не быть декорациями, а женщина – столь необходимой для моего блага, что из гордости я в тот же день отшвырнул ее, как надоевшую куклу. Знакомство с одной старой дамой, обладавшей идеальным для меня сочетанием уродства, эрудиции и самого разностороннего опыта, утвердило меня в моих намерениях. Она обучила меня основам теории, и под ее эгидой, несмотря на все буйство моего темперамента, с помощью уединения и строгой дисциплины, я постепенно привык к воздержанию.

Так к восемнадцати годам я, возможно, преодолел несколько ступеней, ведущих к святости, и если бы это не вызвало неодобрение некоторых современных священников, слишком в малой степени психологов, чтобы понять, что некоторые редкие болезни требуют применения столь же редких лекарств, слишком мирских, чтобы практиковать созерцательность, и слишком ревниво относящихся к своей власти, чтобы поощрять кого-то со стороны, – может статься, я ушел бы из родительского дома в монастырь, а из монастыря – в Вечность, не узнав всех тягот своей судьбы.

Вскоре после того, как их стараниями я отдалился от своей мудрой Наставницы, я повстречал среди них одного юного служителя, всячески изображавшего из себя праведника, при этом весьма утонченного и элегантного, который пообещал, что пробудит во мне вкус к жизни. Я предоставил ему руководить мною, вплоть до того дня, когда, оказавшись один в его комнате, я вдруг в один миг оказался жертвой невыразимого чувства, которое все усиливалось и наконец, подобно урагану, собиравшемуся долгие годы, бросило меня на его кровать самым безжалостным образом. Я едва успел опомниться и взять себя в руки при его появлении, но с тех пор решил строго следить за собой, отныне твердо уверенный в том, что между мной и другими мужчинами нет ничего общего, и в том, что я обречен на погибель, – поскольку, вопреки себе, я любил Человека как такового, да еще с таким лихорадочным пылом, с таким обожанием, близким к идолопоклонству, – в ущерб самой природе и самому Богу!

Мужчина, который любит женщину, даже слишком сильно, не подвергается никакой опасности, поскольку повинуется закону природы и поскольку любит в женщине лишь то, чего недостает ему в себе, – но мужчина, который любит мужчину, любит только Человека, и он обречен, потому что собственную человеческую природу предпочитает всей Природе в целом, и потому что, презрев все остальное, существующее в природе, ради себя, он не только ставит себя выше Божьего творения, – поскольку она создана Богом, – он предпочитает себя самому Богу, он предпочитает свою человеческую природу природе божественной.

В

СУБЪЕКТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ ЗЛА

*Познание зла самого по себе и зла во мне,
за все то время, пока оно не вырвалось из меня*

ПОЗНАНИЕ ЗЛА САМОГО ПО СЕБЕ. –
«ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ» ПОЗНАНИЕ ЗЛА. –
ОТКРЫТИЕ ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ,
РЕЛИГИИ ПРЕИСПОДНЕЙ

Случайно ли слово *malum*
на языке Церкви означает
одновременно и зло, и яблоко?

С момента грехопадения Человек являет собой в природе некое патологическое осложнение, болезнь.

Неизбежно вносящий разлад в свои отношения с Богом, природой, другими людьми и самим собой, – всякий человек имеет право на свою болезнь.

Рожденный злым, человек имеет право на свою изначальную злобу, на свои изъяны – и я говорю здесь не только о частном пороке, которым поражен род человеческий в целом, но о еще более частном, которым отмечен каждый индивид от рождения.

Каждый человек имеет право на изъяны – как всего своего рода, так и свои собственные.

Злоба присуща некоторым созданиям – она подобна шипу, который они носят в себе и который вздымается даже при малейшем контакте. Они хотят быть хорошими или полагают себя таковыми, но одновременно с этим и фактически без их позволения этот шип раздирает то, что они, как им кажется, ласкают.

56

– Но, по крайней мере, можно самому выбирать себе те или иные горести?

Все мы рождаемся со своим Грехом. Достаточно лишь, чтобы последнее слово не оставалось за ним, – и, несомненно, наша злость больше способствует тому, чтобы доброта в конечном итоге одержала победу; наша злость больше способствует тому, чтобы доброта в конечном счете стала победой Бога.

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил», – пишет апостол Павел.

Нет ничего более нелепого, чем слова «справедливо» или «несправедливо» применительно к Природе и к природе Человека – поскольку будь Природа более совершенна, это было бы меньшее благо. В Природе царит гений, который казался бы дурным, если бы мы не были способны быть хуже или лучше. Природа так прекрасна только потому, что справедливость, равенство, чистота в ней являются не правилом, а исключением.

В плане Религии и Греха я не чувствую себя отделенным ни от какого человеческого существа ни корыстью, ни отвращением, ни предрассуд-

ком, ни принципом: истинное единство, истинная общность, истинная религия.

То, что мы знаем об истинной религии, весьма неполно – но это скорее хорошо для нас.

Нет ни одного зверя, который, совершенно не нуждаясь в том, чтобы знать об истинной религии, не исповедовал бы ее, иными словами, не обладал бы природной религиозностью – тем самым подтверждая учение Аристотеля.

Свирепость тигра и коварство кошки – их долг, вытекающий из предписанных им обязанностей.

57

Можно ли представить себе более невыносимую ситуацию, чем если бы каждый верил, что исповедует истинную религию? Если бы каждый исполнял заповеди своей религии, какой бы она ни была, вскоре установилась бы, по сути, единственная религия – всё происходило бы так, словно религия на свете только одна.

Возможно, это оттого, что одним из наших несчастий является потребность в религии – это гораздо большее несчастье, чем отсутствие такой потребности.

Для многих жизнь начинается в нулевой точке и заканчивается нулем. Между этими двумя небытиями разве имеет какое-то значение привязанность к самим себе и к миру?

Я не признаю для себя небытия, как не признаю и тех, кто жалок настолько, чтобы смириться с ним.

В силу того, что мы ограничиваем, сжимаем себя, рано или поздно мы начинаем сжимать лишь манекен – душа ускользает.

Каждый имеет ту религию, в которой нуждается. Худшие даже больше нуждаются в ней, чем лучшие. У честного человека религии, по сути, нет: он думает, что есть, но, хотя он может принадлежать к той или иной религии, – ее у него нет.

Честный человек ничего не может предпринять вопреки себе. Он не существует. А религия – это прежде всего то, что предпринимаешь вопреки себе.

58

Что же удивляться при виде набожного грешника? Он грешен не оттого, что набожен – он набожен оттого, что грешен.

Но что если однажды я осознаю, что для меня нет ни покоя, ни исцеления? Что если я увижу себя пропащим, неизлечимым или неисправимым, если мне будет невозможно вновь обрести чистоту?

Вовсе не из ненависти или презрения, отнюдь нет, напротив, из деликатности, любви и почтения я держусь на расстоянии от моей религии, и все то время, что я остаюсь вдалеке, я страдаю от чувства утраты – потому что Бог не может ужиться рядом со Злом, и всякий раз, когда влечение к Злу становится во мне сильнее влечения к Богу, всякий раз, когда во мне пребывает Человек, не чуждый религии, но враждебный ей, – я не покидаю своего добровольного убежища.

Однако, если ничто так ничему не чуждо, как одна противоположность – другой, если противоречия сохраняются на логическом уровне и на уровне отношений, в том числе наиболее постоянных и наиболее интимных, – без религии я скорее всего сделался бы самым религиозным из людей.

Ибо сейчас я способен лишь свести все к злу или, по меньшей мере, довольствоваться Злом. Кажется, и в самом деле существует такая степень падения, когда больше не можешь сделать ничего ни в согласии с собой, ни вопреки себе, – только лишь отказаться от всего, за исключением своего Зла.

– Демон, оставляющий по себе ангельское воспоминание! – передал мне К. слова сестры Бернар, которая не видела меня больше двадцати лет, но постоянно говорила обо мне как о святом, заслуживающем преклонения, что бы ей обо мне не рассказывали.

Сестра Бернар: – Если кто и попадет прямоком на небеса, так это он.

А Элиза называет меня «святой искунитель».

Религия обуславливает страсть. Религия необходима Греху, моему греху, величию и славе Зла.

Только Бог, вечно Сущий, выше бессмертной Души, которая является частью Бытия и Небытия.

Только бессмертная Душа выше Тела, которое она оживляет и которое разделит с ней бессмертие в день воскрешения.

Только человеческое Тело выше всей остальной материальной природы, которая не обретет бессмертия, но будет разрушена в Судный День.

К самой глубокой степени умаления добавляется высшая степень гордости – так достигается величие человека.

Так существует ли доктрина более четкая, чем христианская, позволяющая логически сочетать абсолютное умаление с абсолютной гордостью в человеческой натуре?

60 Человек по природе своей стоит выше всего, что есть в природе, и даже его слабость морально возносит его над всем, что его превосходит в мире сверхприродном – иными словами, нет ничего выше Человека после Бога. Человек – ключ к вершинам Вселенной. Даже его самоумаление заставляет его вернуть себе главенство над теми, кто превосходит его в иерархии существ. Там, где ему не хватает величия, само его ничтожество становится величием. Ибо недостаток величия возносит его за пределы величия.

Разумеется, не Человек, но Бог, как законный правитель мироздания, интересуется Церковь в первую очередь, затем ангелы.

Предназначение Церкви заключается в том, чтобы создавать святых, которые заменят в ангельских хорах падших ангелов.

И ничто в Церкви не сделано для Человека – но всё против Человека, всё вопреки Человеку.

Человек проводит свою жизнь за пределами Церкви.

Человеческое остается Человеческим, и место Человеческого, чисто Человеческого, – Преисподняя.

Церковь словно говорит: «Все человечество для меня ничего не значит по сравнению с единственным святым».

Материя важна для скульптора лишь в той мере, в какой она вдохновляет его и позволяет ему создать шедевр.

Когда Церковь становится гуманистской, она по сути утрачивает свое призвание: она начинает работать на Преисподнюю.

Я принадлежу Церкви, как лист – дереву. Не дело листа судить дерево. Существование не зависит от совершенства. Нельзя сказать: я верю в существование дерева, оттого что плоды его сладки. Разве может лист оторваться от дерева под предлогом того, что плоды его горьки? и человек от Церкви – под предлогом того, что ее плоды негуманистичны?

61

В первую очередь из-за того, что я не могу не верить в ад, я не могу не быть католиком.

И прежде всего потому, что нет для меня ничего превыше Человека, – я верю в Церковь.

Какое счастье – обрубить швартовы, если умешь расставаться. Считать ли прогрессом то, что больше не страдаешь – ни от привязанностей, ни от разрывов? С момента нашего появления на свет душа движется кругами, все более широкими. И в конце концов легко ускользает от всего.

Часть четвертая

ПОЗНАНИЕ ЗЛА В СЕБЕ. – ОТКРЫТИЕ ЖЕЛАНИЯ: ВЫСШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Что происходит? Терзаясь больше, чем когда-либо, я больше не могу ни спать, ни бодрствовать. Что-то во мне стремится обрести форму.

Отныне я бы хотел всегда оставаться в сознании.

Мое сердце начинает биться быстрее.

Что-то во мне словно отзывается на далекое, вечное Призвание.

Счастлив тот, кто не имеет, в отличие от меня, навязчивой идеи. Его ум и воля принадлежат ему, так же как его время и силы. Моя навязчивая идея не оставляет мне никакого досуга – ни внешнего, ни внутреннего; ничего лишнего.

Моя навязчивая идея, мое вечное искушение, мой грех – Человек. Человек – моя страсть. Человек – мой порок и добродетель.

Я сохраняю для себя все лица, которые являются частью моей повседневности, и все души – светила Вселенной, по которой я движусь, словно по саду наслаждений, где тела – танцующие деревья с волшебными плодами.

Но когда я говорю «Человек», я не имею в виду толпу. Количество разрушает единство. Множественность обесценивает единичность.

63

Как только я вижу человека, я хочу узнать его тайну. Только человек – по-настоящему ценное зрелище для человека, лучшее из всех остальных.

Изучение человеческого существа – единственное достойное занятие, и познание отдельно взятого человека – высшая наука из всех главных наук; она больше всех изобилует и важными сведениями, и удовольствиями.

Только человек есть истинная мера Человека. Только человек удовлетворяет Человека. Бог превосходит его, а всех остальных существующих в природе созданий ему недостаточно. – Однако я далек от того, чтобы отделять Человека, которого я созерцаю, от Бога или от других созданий, которые в моих глазах и в моей душе составляют его свиту, – равно как и от того, чтобы возносить человеческое Достоинство до высот безмятежного совершенства: некоторые запретные чувства, когда они оправданы чрезвычайными обстоятельствами, подобны чудесам Благодати, перед которыми те, кто их удостоен, испытывают некое смутное сожаление.

Какое чарующее наслаждение – остановить взгляд на существе столь же красивом, сколь утонченном, и почувствовать, что ему доставляет такое же удовольствие вас слушать, как вам – на него смотреть.

Красота извиняет всё, при условии, что относишься к ней с почтением.

Жалкое скряжничество – впадать в фамильярность по отношению к тому, чем восхищаешься.

64 Истинный способ воспринять Красоту и обладать ею как таковой – не компрометировать ее собой.

Почитая красоту, не отказываешься от Красоты – напротив, убеждаешь вечность в том, что хочешь навсегда сохранить с ней отношения.

Случается, что будучи удовлетворенным, ваше желание оставляет вас наедине со своим объектом, с которым вы уже не знаете, что делать; однако наибольшая трагедия – когда вам воочию предстает недостойность того, к кому вы привязаны, но привязанность продолжает сохраняться.

С.М.: – Объясни мне, почему я сначала всеми силами стараюсь заполучить ту или иную вещь, а когда она оказывается передо мной, у меня нет сил ею обладать и, может быть, ее полюбить?

Я.: – Это твоя вина или ее? У тебя нет сил завуалировать ее иллюзиями, или она недостойна заключать в себе твою мечту? Тебе не хватает воображения – или ты видишь реальность слишком хорошо?

Если красота должна где-то угаснуть – то пусть она угаснет не во мне.

Некоторые, кажется, ждут от жизни сплошных сюрпризов, другие – сплошных разочарований.

Что до меня, я с нежностью разглядываю фаланги своих пальцев, особенно указательных, и думаю, что они, такие хрупкие, вполне могут оказаться поврежденными или даже сломанными из-за пустяка, и что все мое тело в результате этого окажется ослабленным и расстроенным; и вот только из-за того, что все частицы меня пребывают в целостности и сохранности, я ощущаю признательность и невероятное блаженство.

Луч солнца, касающийся только моего правого уха, кажется мне золотым цветком, распустившимся в сумраке моей спальни и моей души.

65

Больной, я лежу в постели, и за моим плечом тянется полоска белого полотна простыни, которая постепенно начинает казаться мне рукой распятого.

Иллюзия столь полная, что если бы я был способен поддаться галлюцинации – я бы не устоял. Но я просто вхожу в эту чудесную иллюзию, силу которой мне постоянно приходится контролировать, чтобы не быть ею обманутым – и насколько же лучше я теперь понимаю невинность, незаметность соучастия визионера.

Правда ли, что даже самое прекрасное тело способно вызвать отвращение, если разглядывать его слишком долго?

Иногда мое собственное тело внушает моей душе мимолетное отвращение. Она чувствует себя пленницей всех его складок, в которых могут угнездиться болезни и пороки.

66

Более или менее ощутимый некоторыми созданиями – или в некоторые часы – от плоти исходит некий луч, рожденный от ее слияния с душой и, без сомнения, – с ее бессмертной частью.

По сути, именно в той мере, в какой тело участвует в жизни души, оно способно победить смерть, и лишь глубоким почитанием души оно может снискать себе, несмотря на свою деградацию и справедливо заслуженное презрение, ничем не сокрушимое достоинство.

Поскольку их возраст многократно превышает протяженность нашей жизни – слава небесных светил внушает большее благоговение, чем любая иная в природе, и красноречие их света и самой их удаленности, повествующих о необъятности вселенной, превосходит всякие слова. Они словно бы измеряют нас и определяют наше скромное место в череде бесчисленных людских поколений, среди которых мы проходим перед ними. Они почти стирают нас, они отрицают наше существование во времени – но лишь для того, чтобы лучше показать нам величие Человека – если уж они не могут соединиться иначе, чем в нашем сознании, с внутренней жизнью Мира.

Душа не может разочаровывать – какова бы она ни была, душа не может меня разочаровать. С самого начала я поместил ее так высоко, так далеко от всего, что тем самым вернул ей утраченные

некогда возможности. Все, что бы она ни сотворила, я воплощаю и оставляю в вечности – и через какое-то время она уже больше не способна вновь спуститься ко мне.

Душа есть душа; я хочу сказать, что истинное суждение не может ничего добавить к ее природе, равно как и ошибочное – ничего у нее отнять.

Мой непоколебимый оптимизм основывается на том, что я думаю о душе – при этом не всегда относительно Бога или мироустройства в целом. С того момента как Душа была создана – такой, какой я ее полагаю, абсолютно свободной, – она и продолжает оставаться таковой, одновременно стремящейся к Богу и восстающей против Него, и если отныне существует для меня некий абсолют – это человеческая душа, тогда как истина, религия имеют лишь относительную ценность. *Cujus regio, ejus religio*¹. Какова бы ни была вера души, ее природа остается неизменной, и лишь ее сущность, ее отношения с Бытием и Небытием имеют значение.

67

Каждое тело отличается от других только последствиями разницы в отношениях с остальным миром.

В идеале существует только одно-единственное тело, которое и является объектом Психологии и Анатомии.

1 Чья область, того и религия (лат.)

Разум души является мерой Мира, но душа превосходит свою собственную меру – всякая душа превосходит разум в силу самой своей уникальности, поскольку она неповторима.

Есть наука о невещественном. Нет науки о реальном.

68

Геометрия и алгебра, так же как физика и химия, – лишь осознание невещественного, лишь знание об основном, об универсальном, об общем соотношении между человеком и реальностью, в которое, однако, человек тем больше добавляет от себя, чем меньше воспринимает реальность.

Реальность не сводится к тому, что постижимо разумом – это относится не только к каким-то ее частям, но и к самой ее сути.

Человек и не думает ускользать за пределы Реального, – но каждая человеческая личность по определению выходит за пределы разумного постижения.

Индивидуальности существуют лишь реально, а не интеллектуально.

То, что уникально, ускользает от всякого понимания.

Уникальное не может быть понято, познано.

А уникальна любая человеческая личность, неведомая и неотчуждаемая.

БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ ОПЫТЫ

Когда впадаешь в безумие, полагаешь себя мудрым; но безумие, лишь усиливаясь, все глубже укореняется в тебе.

Кто ищет себя, тот себя теряет.

Всякая индивидуальность, которая стремится обнаружить себя, становится частью общности. Никто не хочет своей судьбы. Если некое существо обладает печатью индивидуальности, оно либо не проявляет ее вовсе, либо постепенно от нее избавляется.

Общая душа обретает индивидуальность, которая от нее ускользала. Что до индивидуальной души, чем больше она избегает проявлений своей индивидуальности, тем сильнее ее проявляет.

Достаточно быть собой не потому, что ты этого хочешь, а потому, что таков ты и есть.

Огонь есть Огонь. Я горю, потому что я горю. Для этого нет ни причин, ни отсутствия причин. Причины и их отсутствие – относительно, а чело-

век, который вышел за пределы неких сфер, отныне помышляет лишь о Предвечном. Он абсолютно слеп, если повязка, которую он носит, – завеса Фатальности, которая отменяет Суд, Частный и Страшный. Какая-то сила, словно орел Зевса, возносит некоторых людей превыше законов, на тот волшебный крест Преисподней, где Пространство и Время соединяются так же, как на кресте Праведника, озаряющего Небеса.

70

Я говорю о кресте Сизифа.

Для большинства единственный способ постичь тайну вещей – порвать со вселенским равновесием.

Нужно либо порвать со вселенским равновесием, либо благоговейно его почитать – лишь бы вкладывать всю душу целиком в этот разрыв или в это почтение. И тогда жизнь откроет свою тайну. Разве не стоит добыть ее ценой благородной, опасной страсти?

Человек, который всегда является хозяином своей Судьбы и самого себя, не знает ни себя, ни Судьбы. Он не знает, каковы его пределы и какова его свобода.

Только безумие – мера Судьбы, только безумие соразмерно драме Человека и сравнимо с тайной Бога. Поэтому не стоит бояться впасть в безумие – скорее бояться нужно того, что оно не подчинит тебя полностью.

Нет, не «честный человек» постигает тайну Бога и тайну Человека – ту тайну, которая всегда существует между некоторыми людьми и Богом, – а только Святой и Грешник.

Тот, кто не вышел за пределы себя, не знает себя и не знает Бога. Ему неизвестна Судьба, или же он не имеет никакой судьбы. Судьбе он тоже неведом. У Бога нет никаких особых намерений относительно его, а у него самого нет никаких особых намерений относительно чего бы то ни было.

Что я называю Судьбой? Некую предрасположенность к злу, далеко не всегда осознаваемую – то, что святой Павел называет искушениями необычными и сверхчеловеческими.

71

Нет ничего столь волнующего, как почувствовать, что ты готов ко всему, что ты готов отказаться от всего ради того, что любишь, ради того чтобы соединиться с ним; что твои нынешние обстоятельства обретают высоту в силу неизбежности трагической развязки.

Грех, любовь к Греху, в каком-то смысле призывание к Греху, в том случае если они обретают религиозный пыл, необоримое исступление, – становятся единственным достоинством, которое может привести к святости.

Они могут придать нечистым существам величие не меньшее, чем то, которым обладают чистые. Порой нечистота пробуждает в нас тот же героизм и то же самоотречение, что и чистота; она может привести нас к тем же самым лишениям, к тому же поруганию, к столь же великому презрению, сколь и почтению.

Мне случалось достигать странных компромиссов с самим собой в совершении святотатств, которые, возможно, по сути были священнодей-

ствиями. Нет ничего более священного для меня, чем мой Грех – я принес ему в жертву всё, и те постоянные расчеты, к которым он меня обязывает, нравятся мне в силу самой их сложности. Подвиг – ввергнуть себя в скорбь и уничтожение с благородством истинного вельможи, и триумф – ввергнуться в пучину зла, еще не лишившись крыльев архангела.

72

Есть два способа избавиться от своего желания, когда оно становится губительным: отказаться от него или его осуществить.

В обоих случаях от него освобождаешься, но освобождение, которое наступает после того, как я его удовлетворю, – хуже, потому что в этом случае я, возможно, отказываюсь от всего того, что было в моем Желании взыскательного и возвышенного.

Без сомнения, я открыл Рай, где есть всё, но сам опустился ниже этого всего, тогда как я мог – отвергнув, казалось бы, свое Желание ради любви к тому, что оно заключало в себе взыскательного и возвышенного, – благодаря ему подняться над всем.

Есть жизнь Тела, жизнь Сердца, жизнь Ума, жизнь Души. В каждой из этих сфер свои законы, свой идеал, свои ошибки, свои добродетели, своя Преисподняя, свои Небеса, – но ни одна из них не является абсолютно чуждой для остальных. И если кому-то случается обнаружить в своем сознании их связь, даже едва различимую во тьме чувств, невероятно далеко от Единственного Света – ибо одно и то же солнце освещает все сферы,

и самые ближние, и самые дальние, – пылающая Тень, которая осенит его во Грехе, не приведет к падению, если он возлюбил ее Тайну.

Что, если рай, в который я попаду, окажется адом? Если я пробуду в нем долго, если я к нему привыкну – о, какое это будет ужасное счастье!

Но опасность пробуждает мужество.

Ленивая натура, ставшая жертвой порока, никогда не продвинется во зло слишком далеко; но если кто-то найдет в себе мужества предаться пороку всецело – последствия не замедлят сказаться.

73

Когда жизнь захватывает меня до самых глубин – страх и ужас бытия уносят меня туда, где я никогда не оказался бы по своей воле, побуждаемый необходимостью.

У Преисподней свои законы, свои требования, своя красота, свои добродетели; у Греха – своя логика, своя этика, своя эстетика.

Одно дело правило, которому следуешь, и совсем другое – правило, которому только думаешь, что следуешь. Одно дело вера, другое – иллюзия веры.

Каждая душа, со всеми своими масками и своими цепями, имеет дело лишь сама с собой и импровизирует.

Именно в этом смысле только неожиданность искупает грех, но горе тому, кто привык к своему греху до такой степени, что тот сделался его второй натурой.

Когда привыкаешь к своим оковам, уже не остается никакого стыда – с ним покончено.

Мы не знаем, в какой мере наши поступки являются выражением осознанного решения, свободного от желаний.

74

Но так или иначе мы можем выразить его только через поступок. Все наши слова лгут вплоть до того дня, когда мы внезапно обнаруживаем, что действуем вопреки не только тому, что мы привыкли говорить, но и тому, что мы привыкли думать и любить.

Однако, когда после удовлетворения желания ни сердце, ни чувства не уязвлены в своей деликатности, приговор задерживается, хотя по идее должен быть приведен в исполнение безотлагательно. Хочется по-прежнему наслаждаться этим счастьем, которое ценишь тем больше, чем лучше понимаешь, что оно всего лишь случайность.

Добродетель, как правило, прекрасна; грех может быть прекрасен лишь в виде исключения.

Ничто так не обременительно в моральном отношении, как склонность всегда считать себя виноватым. Щепетильность не столько удаляется от греха, сколько привыкает к нему, отчего полагает себя побежденной зачастую даже раньше, чем действительно оказывается побеждена.

С

ОБЪЕКТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ ЗЛА

*познание зла в действии, с того момента,
как оно вырвалось из меня*

Часть шестая

НОВЫЕ ОПЫТЫ. – ЗНАНИЕ, ПОКА ЕЩЕ «ОТДАЛЕННОЕ». – ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОБЕЩАНИЯ. – СОЗЕРЦАНИЕ «ОБЪЕКТА», РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Иллюзия ошибки подготавливает саму ошибку, подготавливает нас к ошибке. Мы сомневаемся, не совершили ли уже ее – и вот мы ее совершаем.

Слишком часто именно деликатность, вносящая сумятицу в наши суждения и мешающая нам четко мыслить, благоприятствует расцвету греха. Стоило бы проявлять больше решительности, определенности, даже жестокости. Но никто из нас не выбирает меру своей силы; он может лишь распоряжаться той, что ему дана.

Порой я говорю себе, что грех и вина не абсолютны, но лишь относительны, – что нет, не может быть греха во мне, он существует только применительно к внешнему (по отношению ко мне) порядку вещей – порядку, который я не выбираю и который всегда волен игнорировать или

забыть, если готов принять все последствия своего равнодушия или своей забывчивости, какими бы они ни были, ради того, чтобы на миг ощутить первозданную свежесть, удовольствие начать все сначала.

78

Кто обитает во мне? Целое тигриное племя, члены которого разрывают друг друга? Порой до них доносится грозный рокот моря, и тигры замолкают, словно испугавшись. Ах! если бы хоть гром небесный заставлял меня умерять мою силу – но я поддаюсь на улыбки, на слезы. Человек во мне – лишь миг смятенья, который я стремлюсь превозмочь, не в силах вернуться в Безмолвие и Волю Бога, которые я оставил, не дав себе на то позволения.

Я: – Вы угрожали, что будете плохо думать обо мне. Я бы хотел, чтобы вы подумали обо мне самое худшее. Может быть, вы возненавидите меня и тем утешитесь. А если вы так и думаете, я вам подтверждаю: вы правы. Я бы хотел не быть к себе более строгим, чем вы ко мне.

Она: – Я выучу твою душу наизусть, чтобы читать ее по памяти в чистилище, в ожидании рая.

Трудность, как мне представляется, состоит в том, чтобы установить между телом и душой приемлемые отношения. Похоть часто порождает фальшивое ощущение приспособленности души и тела друг к другу. Ум души слишком удивляется тому, что интересуется плотью, зрелище которой, поскольку он к этому непривычен, всегда остается для него новым и волнующим. Отсюда неодоли-

мая сила и все жестокости Искушения. Нужно разрушить или уменьшить это удивление, эту угрозу первоначальной зачарованности и заменить ее другой – более редкой или иного порядка. Я хочу сказать, что чем более душа чиста, тем более тело сохраняет рядом с ней свое величие. Как только она перестает его осквернять, бесчестить, унижать и таинственным образом прячется от него из скромности, не осмеливаясь не только на него смотреть, но даже о нем думать, – она придает ему все возможное очарование, все изящество, всю красоту. Напротив, фамильярность, с которой развратник относится к собственному телу, давно лишила его подобной магии: постоянное выставление тела напоказ приводит к тому, что его вид и даже запах становятся непереносимыми, что само по себе является наказанием.

79

Аномалия, присущая мне, поначалу имела безопасную форму. Мне случалось, например, запираюсь в своей спальне и, вооружившись мощной подзорной трубой, наблюдать за землекопом, орудующим на пустыре. Устроившись поудобнее и наведя трубу таким образом, чтобы человек попадал в центр объектива, я мог целый день смотреть, как он работает, перемещается, постепенно устает, отдыхает, снова принимается за работу, забавляется – и в конце концов уже ничто не казалось мне более ценным, чем это созерцание, потому что я становился необыкновенно мудрым, необыкновенно сведущим во всем, что касалось этого человека. Я изучил все детали его одежды, сосчитал все швы, все пуговицы; я не упустил из вида ничего из того, что он ел и пил, не оставив без внимания также степень его го-

лода и жажды; я разглядел во всех подробностях его носовой платок и его нож. Я запомнил и цвет его рубашки, и благопристойность, с которой он удовлетворял свои природные нужды, и его манеру поведения при виде проходящих мимо женщин. Я в точности запомнил последовательность его жестов и понял, что означает их замедление или ускорение – или думал, что понял; я выстроил целый ряд гипотез, чтобы объяснить его внезапные остановки в работе и понять, например, почему он, прежде чем схватиться за лопату, заступ или ручки своей тележки, пару секунд имитирует то движение, которое собирается совершить. Иногда мне чудилась в этом ирония, горькая ирония подневольного трудяги, а иногда, при виде величайшего спокойствия и гармонии, сопровождавших каждое его движение, я думал, что это всего лишь бесхитростная и безмятежная игра Адама, ненадолго вернувшегося в рай.

Помню, спустя некоторое время владелец дома номер 26 по улице Гей-Люссака после долгих переговоров согласился сдать мне две комнаты в мансарде с видом на Институт океанографии лишь после того, как я твердо пообещал не приводить к себе женщин. «Видите ли, месье, – сказал он, – я не хочу, чтобы моя супруга, мадам Бонне, столкнулась на лестнице с какой-нибудь бульварной девицей из Сен-Мишель». Он занимал основную часть дома. Для того, чтобы поиздеваться над ним и заодно отомстить за себя, я на протяжении нескольких месяцев ходил обедать на авеню д'Орлеан в один ресторанчик самого низкого пошиба и каждый раз приглашал к себе кого-нибудь из посетителей – все равно кого, лишь бы не женщину:

безработных мастеровых, водопроводчиков, механиков, а зачастую, скорее всего, и мошенников, воров, убийц; такое развлечение вполне могло стоить мне жизни. Когда кто-то из этих типов поднимался ко мне, я угощал его сигаретой, бокалом вина или легким ужином, в зависимости от времени, а если я замечал, что их ногти слишком длинны или неухожены, просил разрешения подстричь их и обработать должным образом: у меня была такая слабость. Благодаря этим процедурам я довольно долгое время мог держать их руки в своих, и всякий раз замечал, что мои гости уходят слегка встревоженными – очевидно, гадая, не безумец ли я. Однажды воскресным вечером случилось так, что один из них напился. Я заставил его разуться и опустить ноги в таз с водой, после чего сам их вымыл и вытер полотенцем. Этот парень был, кажется, штукатур, лет двадцати, довольно красивый. Следы свежей известки вокруг его лодыжек и между пальцами ног создавали ощущение чудесной метаморфозы – словно передо мной была статуя, оживавшая от моих прикосновений. Мое почти религиозное благоговение перед ногами бедняков всегда было приятно гостям, и часто после таких забот с моей стороны мы становились более близкими, но никогда до такой степени, чтобы мои гости переставали испытывать ко мне почтение, смешенное со страхом, – разве что однажды я застиг одного из них в тот момент, когда он схватил мой бумажник, но стоило лишь мне с грустью на него посмотреть, как он вернул бумажник на место, хотя в первый миг едва не бросился на меня – очевидно, чтобы задушить. Однажды днем, когда я вышел пообедать, внизу возле портика, украшенного лилиями, меня ждал мировой судья из С., где жила моя семья. Его окружали семеро его детей. Он сообщил мне новости из род-

ных мест, и только я уже собирался порадоваться, как увидел, что ко мне направляется бледный молодой человек в широких брюках из черного бархата с еще более широким красным поясом – это был один из моих гостей, недавно вышедший из больницы. Однако мне достаточно было сделать слабый жест – и Опасность отдалилась столь же быстро, как до того приближалась. Какой волнующий сюжет – появление и дальнейшее присутствие этих незнакомцев в моем одиночестве! Некоторые держали себя как покорные рабы, и я выступал в роли властелина. С другими я чувствовал себя смертным, которого посещают боги. Я говорил им, что я скульптор – это извиняло дальнейшее – и самым непринужденным тоном просил их раздеться и лечь на кровать. Они принимали наиболее выигрышные позы, а я, для проформы вооружившись карандашом и листом бумаги, ходил вокруг них, то приближаясь, то отдаляясь, садился, снова вставал, опускался на колени, – однако никогда их не трогал. Но как-то раз очередной Эндимион¹ заснул – и тогда я дал себе волю.

Вчера трое незнакомцев с видом заговорщиков беседовали на рю де Кастильон:

– Главное, – советовал один из них, – не поговорись ему о том, что у тебя родинка на левой ягодице – иначе он вполне способен попросить позволения в этом убедиться, а если ты откажешь, будет бегать кругами, пытаясь ее увидеть, или убьет тебя, чтобы потом раздеть твой труп. Но так или иначе, эта родинка для него – всего лишь

1 Прекрасный юноша, которого усыпила богиня луны Селена, чтобы любоваться им.

предлог, чтобы увидеть тебя голым. У него терпение как у китайской прислуги, которая может десять лет подряд потихоньку, на сантиметр в год, передвигать какую-нибудь мебель на другое место, вопреки хозяину, но так, чтобы никто ничего не заметил. И тогда его торжествующая улыбка просто неподражаема, а его радость, добытая ценой столь долгого усилия, столь же безмерна, сколь и безжалостна.

83

Вы скажете мне, что одержимый похотью проходит мимо весны, не видя ее, и все волшебные красоты природы для него потеряны? Нет. Он собирает другой урожай счастья на своем маленьком поле.

О невидимый Лес, в котором я движусь как слепой или как бесплотный дух! Представить только, что заклятье, лежавшее на нем, вдруг исчезает, мрак рассеивается, я вижу свою руку, ощупываю лицо, каким-то магическим образом замечаю все то, что обычно скрыто от глаз.

Любой непристойный жест для меня окутан, словно ореолом, обаянием глубокой тайны, выражением которой он служит.

Улыбайся, смейся, несчастный нечестивец, которому не ведом священный восторг, известный мне одному; профан, постоянно опошляющий жизнь своей фамильярностью с ней и с собой самим.

Что до меня, я не отвергаю в ней ничего.

Невозможно порой отказаться от этого обладания, от этого любопытства, от этого опьянения. Напрасно я пытаюсь что-то делать, что-то говорить или, напротив, бездействовать – я всецело подчинен Ей, моей навязчивой идее. Нет ни единого существа на улице, пусть даже сколь угодно отвратительного, чью тайну мне не хотелось бы узнать, и когда я опираюсь о подоконник, то делаю это лишь для того, чтобы дождаться прохожего, которому придет мысль раздеться передо мной. Бывает, что я с утра до вечера стою, прижавшись лицом к стеклу, в ожидании чуда, словно оно и впрямь возможно, – и вот, из-за того, что я столь настойчиво его призываю, оно происходит. Хотя я не делаю ради этого ни малейшего усилия, и ничто во мне не выражает сомнений в невозможности подобного события, оно словно кружит возле дома, постепенно приближаясь. Сила моего желания магически воздействует на его объект, притягивая его. Он приближается. Это магнетизм. Или он идет не ко мне? или это не он, а я сам движусь в толпе, среди всего того, что составляет мой персональный рай?

Нет, ничто не может сравниться с силой моего Желания, с этой лихорадкой, с этим жжением, которое я ощущаю при приближении кого бы то ни было.

Я отнюдь не чист и не пытаюсь сделаться таковым, хотя я знаю, что достаточно переместить «объект» внутри меня, чтобы им стать – иными словами, отодвинуть немного в сторону то, что всегда в центре внимания; но нет, жизнь интерес-

на мне именно такой как есть. Я опьяняюсь, воображая себе тепло, запах, вкус самых отдаленных, самых недосыгаемых уголков на свете, меня охватывает восторг – осязательный, обонятельный, слуховой, зрительный, – который не позволяет ни одной загадке души и тела полностью ускользнуть от моего исследования, моих инспекций, моих таинственных погружений в глубину изучаемых объектов.

85

Вид Бога отрезвил бы меня? Мне нет необходимости отрицать Бога или не верить в преисподнюю для того, чтобы жить по-своему. Разве я был бы свободным, если бы не мог рухнуть в ту бездну, которая с такой силой меня притягивает?

Мне неведома экзальтация святого, его экстазы, но я хорошо знаю, какова природа моих. Я знаю, что я испытываю, и если бы Бог тоже это знал, как мог бы Он не содрогнуться?

Я вынужден лишь напоминать себе, что стоит мне перестать обуздывать некоторые из моих вождений, – никто не предскажет в точности, куда они меня унесут.

Но если моя духовная красота сравнится с той, которая открывается мне в других существах, если мое почтение к ним сравнится с тем волнением, которое они у меня вызывают, – мне придется расстаться и с ними, и с собой.

Итак, нужно, чтобы моя любовь к Человеку была столь огромной, чтобы она избавила меня от всего. Я любил бы Человека до такой степени, что-

бы моя любовь к нему заставила меня отказаться от него ради его любви – уже после того как эта любовь лишит меня и Бога, и меня самого.

Если бы я обладал свободой, Свободой любить Человека больше чем Бога и больше чем себя, – кто мог бы у меня ее отнять, даже если бы она обесчестила меня и навсегда погубила, даже если бы она сковала меня и заточила в бездне, откуда нет возврата, даже если бы навеки меня прокляла? В глубине моей темницы, на дне преисподней, одной моей страсти ей было бы достаточно для ее величия, а величия моей Страсти было бы достаточно мне.

86

Сегодня в полвосьмого утра, в подземном переходе я увидел араба лет тридцати, который, опустив голову, задумчиво разглядывал свой большой палец. В этом человеке ощущалась безмятежность, чем-то сходная с моей – безмятежность пастуха и отшельника. Я представлял его себе не иначе как в отдаленном уголке Африки, с посохом в руке, наблюдающего за своими стадами. Возможно, он в это же время представлял меня тоже в облике пастуха – так что все окружающие в конце концов начали удивленно спрашивать себя, с чего бы все пастухи мира решили встретиться в подземелье большого города?

Бывает так, что при знакомстве с человеком вы прежде всего видите в нем ребенка, которым он когда-то был и который рассказывает вам о нем, представляет и рекомендует его вам, переводит для вас его слова на другой язык, более искренний, более живой. Такое преобразование помога-

ет вам понять этого человека или хотя бы принять его, несмотря на комедию, которую он привычно разыгрывает и которая не может обмануть только вас.

Но есть и другие – сквозь их лица словно просвечивает посмертная маска. Такие люди могут сколько угодно суетиться вокруг этого магического неподвижного центра, но вы видите их на смертном ложе, изувеченных, истекающих кровью из ран, полученных на поле битвы, и этот образ, возвышенный и торжественный, выражает их суть, определяет меру их величия, заставляет вас восхищаться ими, что бы они ни делали, и помогает простить им всю их нынешнюю суету и творимые ими несправедливости.

87

И вот Драма возобновляется, потому что кто-то сел в двух шагах от меня. Я не говорю, что я поддаюсь – но мой Покой утрачен, хотя внешне я остаюсь невозмутимым и непоколебимым.

Душа в глубине каждого из нас подобна райской птице, которая у одних трепещет, у других – спит. У некоторых она никогда не поет. У иных поет столь мелодично, что ее переливчатые рулады слышат даже глухие, если им случается оказаться поблизости.

Аполлон с головой воробья – таков мой знакомый атлет, чье тело великолепно, а голова выглядит совершенно незначительно. Обычное дело для большинства атлетов; но мой знакомый испытывает настоящую ярость, будучи вынужденным скрывать то, что ему хотелось бы продемонстри-

ровать, и открывать то, что хотелось бы спрятать. По его мнению, было бы неплохо завести обычай прогуливаться обнаженными с мешками на головах – все лучше, чем наоборот. «Думаете, так приятно быть Аполлоном? Я не могу найти себе рубашку – нет ни одной с воротником 55 сантиметров, как нет ни одной девицы, которая меня не испугалась бы».

88

Крепкая и мускулистая шея Атланта. Кроме этого есть многое другое, но только это существует для меня сегодня, завтра и всегда. Поддержка, которую дает мне Мир. Монстранц¹ Мира. Нет смысла быть где-то еще. Нет смысла не смотреть на то, что видишь. Нет смысла не видеть того, на что смотришь. Нет смысла не смотреть на то, что никогда не переставал видеть. Желание, до такой степени насущное, фатальное, – способно заменить свой объект, вызвать его, создать, породить его присутствие или создать образ столь захватывающий, что присутствие становится обязательным, – при этом столь реальный и столь утонченный. Больше нет ничего; остается только это, и когда все разрушено желанием, не остается и желания – оно уничтожает само себя.

Я смотрю на кого-то, затем отвожу глаза, но напрасно: что-то во мне продолжает созерцать это лицо, хотя его больше нет передо мной – я все равно вижу его там, где его нет. Я пытаюсь разорвать эту нить, но этого не удается сделать, не разрушив сущностное.

1 В католических храмах – драгоценный сосуд, в котором хранится причастие.

Бывает, что я твердо убежден: незнакомец, который только что отвел от меня глаза, на самом деле продолжает меня разглядывать – и вдобавок ощущение легкого, почти неощутимого прикосновения убеждает меня в том, что кто-то, находящийся позади меня, тоже за мной наблюдает.

Тщетны попытки уберечься от сильной привязанности к чему-либо и всячески выступать против этого: если ваше сердце испытывает к чему-то склонность, оно не станет просить у вас на это разрешения, и его отказ вам подчиняться вы сразу почувствуете.

89

Порой даже мимоходом замечаешь в некоторых людях явно грозящую им опасность: их слова и жесты свидетельствуют о том, что они вот-вот могут сорваться в пропасть – настолько очевидно они близки к самоубийству, безумию, пороку, святости.

Какие странные откровения мне довелось от нее выслушать – и какие упреки! как будто я мало вытерпел от моих друзей. Теперь и она за меня взялась.

Воистину, бывают часы, когда ты одинок, абсолютно одинок, но и в этом еще остается нечто благое или, по крайней мере, величественное: теперь можно быть твердо уверенным, что тебе больше нечего терять, кроме самого себя. На сей раз у меня такое чувство, что меня подхватил вихрь и кружит над пустотой.

Вознеси меня, Боже, к этим счастливым устам.

Я открываю глаза, шепча: «Чистые помыслами, ангелы небесные, пробудите меня, поднимите меня, оденьте меня, надуйте меня лучшими благоговениями, *Cherubim quoque ac Seraphim*¹».

90

Нужно, чтобы рука была красивой не по причине ухоженности, но, напротив, по той причине, что ей уделяют мало заботы.

Лица слишком ухоженных тел – я узнаю вас в вашей бездне.

А! недавно уселся рядом со мной, окутанный дурным запахом, который живет в нем и которого он не замечает.

Можно быть уверенным, что абсолютно все, мужчины и женщины, уступают М. лишь по причине его улыбки, и никто об этом не знает, даже он сам.

Вот у этого уши слишком плотно прижаты, чтобы распознать свое счастье. Каждый получает лишь то счастье, которого заслуживает. Этот получил в качестве счастья – наказание родиться нормальным.

Слишком толстые губы R. спят одиноким вечным сном под сенью его неусыпного бодрствования.

1 «Херувимы, (так же как) и Серафимы» – строчка из первой части анафоры христианской литургии (Prefatio)

Истинный герб каждого – это его лицо.

– Но ты ведь не такой, как мы, – говорит мне крестьянин посреди общей комнаты в деревенском доме. – Ты моллюск.

Никто не смеется.

Обидеться – значило бы проявить склочность из-за пустяка. Да и крестьянин явно не хотел меня обидеть. Поэтому я просто спрашиваю:

– Почему моллюск?

Он объясняет:

– Сразу видно, что ты неженка. У тебя тонкая кость, не то что у нас, кожа мягкая и гладкая. Даже помыслить нелегко, что ты вот этими своими белыми руками будешь делать грубую работу. Так что пусть уж вместо тебя Монтань разожжет огонь, а Пелегрэн подметет лестницу.

91

Элиза: – Эти ребята чувствуют в твоей мягкости нечто чуждое твоему полу, не сочетающееся с ним. Особенно когда ты голый.

У некоторых мужчин половой орган выглядит как часть чудовищного спрута, поселившегося в их теле и пожирающего их изнутри – этот неотделимый монстр являет собой захватывающее, неотступное, жестокое зрелище.

Этим утром я увидел человека, ведущего на поводках двух собак, справа и слева от себя. Провожая его взглядом, я невольно почувствовал, что вынужден буквально удерживать рвущийся за ним взгляд, как сам он удерживал своих псин.

Некоторые молодые люди словно носят на себе невидимые цветы – один между бедер и другой, не менее роскошный – между бровей.

Большая опасность – иметь слишком красивую одежду или слишком красивый профиль. Рискуешь не требовать от себя ничего другого.

92 Есть те, кто рождается на свет с лицом триумфатора – и даже если у них рабская душа, они все же имеют некоторый шанс доминировать. Другие рождаются почти безликими, но их душа «рождена, чтобы властвовать». Их заслуги велики, поскольку они в силах сделать все что угодно – даже сделать себе лицо.

Танцую, R. превращает свою голову в сосредоточие себя – выставляет впереди бедер и всего остального тела, словно это роза ветров, вокруг которой он вращается.

Порой член одноногого становится единственной заменой отрезанной ноги, давая опору нависающему сверху треугольнику груди и головы: мужчина, женщина или улитка?

В чем состоит очарование этого окровавленного рта, столь же нежного, как рот святого Себастьяна? – я размышляю об этом все то время, что вижу его в зеркале, изучая его отдельно, словно единственный фрагмент шедевра, и без труда домысливая все остальное, достойное его; но затем мои глаза воспринимают отражение полностью – и вот все очарование, даже очарование рта, миг исчезает.

Отражение далеко от восхитительного оригинала; отсюда наши иллюзии по поводу собственной наружности, которую мы никогда по сути не видим, разве что в зеркале, где она вдобавок искажена самым зеркальным принципом отображения, меняющим местами левую и правую стороны, – иначе говоря, мы никогда не видим себя такими как есть.

93

Так же получилось и с J.: от меня долгое время была скрыта его внутренняя красота.

Некоторые тела ценны для нас не больше, чем записные книжки с тончайшей шелковой бумагой; но какой изысканный аромат может таить среди своих страниц даже записная книжка без единой строчки – эта свежесть и чистота бумажных страниц более ценна для меня, чем D., являющий собой массивную золотую статую, само воплощение суровости, скупости чувств, сосредоточенности на самом себе и неспособности к душевным порывам. Но не золото и не красота, даже столь редкостная – это не то, что мне нужно; лишь простота и нежность, магия взаимопонимания, рождающая истинную близость.

*«БЛИЗКОЕ», «ПРАКТИЧЕСКОЕ», НО ПОКА
ЕЩЕ «ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ» ПОЗНАНИЕ ЗЛА,
ЕГО «ОБЪЕКТА». – ЗНАКОМСТВО
С ОПАСНОСТЬЮ, КОТОРОЙ ОНО ЧРЕВАТО,
И НОВАЯ ПОПЫТКА ПОСТИЧЬ
ВНУТРЕННЮЮ СУТЬ ЗЛА.*

Г. рассказывает: – Однажды вечером я прогуливался в тумане и услышал крики со стороны соседней фермы – отбившуюся от стада корову пытались загнать в стойло. И тут я увидел, что она направляется прямо ко мне. Я раскинул руки, широко распахнув свой плащ-накидку. Корова попятилась и уже собиралась повернуть обратно, как вдруг какая-то женщина в ужасе завопила: «Черный Человек! Черный Человек!» Я бросился вперед по тропинке, в надежде успокоить всех, повторяя: «Да нет, это же я, это я, М.Г.! Я – М.Г.!» – «О, нет, М.Г., – отвечала женщина, – это не вас я только что видела. Вас-то я бы сразу узнала. Но я видела Черного Человека, он часто бродит по окрестностям. Не далее как вчера он заговорил с пастухом». Так ведь это я сам разговаривал вчера с пастухом! Оказалось, все в деревне относились ко мне с таким по-

чением, что не всегда соглашались признать во мне меня – порой они предпочитали верить в моего двойника, «Черного Человека»: предполагалось, что я способен только на хорошие поступки, а тот, другой, способен на всё.

96

Думается, нельзя обесчестить себя безнаказанно. Хотя я одинаково восхищаюсь теми, кто является собой образцы добродетели, и теми, кто только притворяется таковыми, и уважаю преступников не меньше, чем тех, кто их судит (человеческая душа не во всех проявлена в равной мере), – я инстинктивно испытываю ужас перед теми, кто уродлив, и расположение к тем, чья внешность благородна. Когда мне кажется, что я сталкиваюсь с унижением, на моем лице отражается стыд, и я не успокаиваюсь до тех пор, пока не восстанавливаю уважение к себе и почтение к Богу, которое имеет мало общего с тем, что воздается людям, но отсутствие уважения с их стороны тревожит совесть – как будто зримый блеск славы нужен тем, кто обладает Славой.

Сегодня я выяснил истинное расстояние – которое прежде никогда не считал таким коротким – между честью и бесчестьем; однако ложь, дурная комедия этого всего ничему меня не научили. Вообще-то я отчасти это подозревал.

Что я узнал – так это до какой степени я не забочусь о себе в глубине пропасти, где я нагромоздил горы молчания, чтобы себя под ними похоронить. Лишь на дне пропасти узнаешь, что проис-

ходит с тем, у кого больше ничего не осталось, – и теперь я не принял бы даже царства в обмен на этот ужасный опыт.

Уверен, мне нет необходимости проверять на себе выражение А. М. о том, что вкус к истине ослаблен у затравленных людей – как можно малодушно сожалеть о том, что я побывал в этом Круге Скорби?

97

Когда полицейский задерживает преступника, у последнего порой не меньше оснований задать полицейскому тот же вопрос, который полицейский задает ему: как он дошел до такой жизни, пал так низко?

Есть те, для кого существует внешний мир, и те, кто живет на уровне Вечного.

«Физическое» и «метафизическое» – два аспекта Вечного. Нет ничего внешнего, ничего чуждого Вечности – кроме мира Социальности, по которому прогуливаются добропорядочные граждане, охраняемые полицией.

Я запретил себе только одно – извиняться перед моими палачами, и я сдержал слово. Большое утешение – даже в позоре сохранить поводы для гордости и вызвать своим поведением по крайней мере удивление, а то и восхищение судей.

Хотя Судья выглядит растерянным, когда преступник оправдан, и хотя разница между человеком честным и бесчестным есть только во мнении

того, кто смотрит на них обоих, – истинное величие в том, чтобы любить то, что любишь, до такой степени, чтобы погубить себя. Смерть – ничто; но стыд – это испытание совершенно особое и универсальное.

98

Не вина служит основанием для бесчестья, а публичное признание вины. Преступление нескольких сообщников – их общая тайна; но если ты знаешь о моем, к которому не причастен, мой образ для тебя мгновенно искажается. Одна и та же пытка возобновляется вновь и вновь, стоит мне вспомнить кого-то из знакомых, врага или друга: всякий раз меня окатывает волна презрения, которое я внушаю каждому из них.

Но в конечном счете есть единственное наслаждение – видеть себя в равной степени виновным и невиновным: например, констатировать, что вина, которую вы считали такой огромной, на самом деле не более чем оплошность, и что чаще всего именно оплошность служит причиной бесчестья. Я даже не желал зла, которое совершил, я даже в сущности не делал того зла, которое, как мне казалось, я сделал. В тот самый момент, когда я был за этим застигнут, захвачен врасплох, – я играл, играл со Злом, и моя игра плохо кончилась. Возможно, мне даже случалось попадать в подобные ситуации, оказавшись во власти страстного порыва или неумолимой фатальности – что одно и то же, – но на сей раз я действовал машинально, рассеянно, только из любопытства, что из этого выйдет? Так или иначе, я не был разочарован.

По крайней мере, хоть на секунду я почувствовал, как бьется в моей груди сердце «Человека»! Я до такой степени оставлен Небом и Землей, что речь уже не идет обо мне как таковом.

И когда я называю свое имя, у меня такое ощущение, что я проявляю слабость, – хотя на самом деле все совсем наоборот, – как будто я, зная истинного виновного, выдаю вместо него другого, невинного.

Кто я в этот момент, даже для себя самого? Неважно кто – кто-то пропащий.

99

Человек, который умирает достойно, в момент смерти забывает себя – он воспринимает себя как любое существо, достойное сострадания. У него больше нет ни гордыни, ни личных воспоминаний. Дно пропасти одинаково для всех и безымянно.

Лишь чуть позже, после того как правосудие свершится, или чуть ниже – ниже всего, когда навечно останешься один в безмолвии темницы, – лишь тогда найдешь в себе силы утешить себя и наедине с собой засвидетельствовать себе собственное существование.

И все-таки я обманулся! Я спрашиваю себя, не предпочел ли бы я подвергнуться реальному риску.

Как бы то ни было, бенефис выглядит так же: лучшая часть моей души обрушилась в пятницу 9 июня 19... года, и этот адский грохот позади себя я буду слышать всю жизнь.

Большое достижение – больше не испытывать никакого почтения и никакой жалости к себе.

Ничего справа, ничего слева. Ничего наверху, ничего внизу. Ничего в себе.

Ничего.

Когда самая важная Вещь кажется столь незначительной, что ее уже не различить на фоне небытия, больше нет никакой математики, никакой радости, никакого страдания – больше нет места для алгебры чувств.

100

У разума нет лучших помощников, чем некоторые поступки, которые позволили мне открыть в себе присутствие и измерить глубину латентного и опасного безумия.

Такое самоопределение кажется мне приемлемым лишь потому, что мне знакомо помешательство.

Истину можно построить только на заблуждении. Я могу вывести всю этику из этого вторичного греха. Лишь благодаря тому, что я оступался, я научился ходить, даже танцевать. Я упорядочил мои неверные шаги – и вот я танцую.

То, чего я не должен терять из вида, то, что есть во мне положительного и реального – это не мои пределы и не мой разум, но мое помешательство, мое безумие. Пределы и разум – это лишь форма, которую я выбрал для жизни, но сама материя жизни – сплошь помешательство и безумие.

Иными словами, добро для зла – то же самое, что форма для материи. Нет добра без зла. Нравственный путь существ, которые никогда не имели дела со злом, – чисто формальный, абсолютно искусственный.

– Как М.Г. мог бы стать злым, если бы он был добрым?

– Как М.Г. мог бы стать менее добрым, если бы он не был злым?

Это оттого, что старуха и ее внук, собиравшие хворост в лесу, испугались меня во вторник утром, мне доставляет удовольствие и одновременно страдание каждый день прогуливаться там в компании Е. В присутствии свидетеля я не поддаюсь искушениям. Разум не уступает воображению. Он его сдерживает. Плотина не имеет смысла сама по себе, если нет реки, моря и беспощадных бурь, которые обрушиваются на них, заставляя их бушевать. Однако наивно было бы придавать какую бы то ни было ценность как плотине, так и свидетелю, – это все равно что верить, что плотина могла бы существовать сама по себе.

101

Ошибка современной морали в том, что она постоянно прибегает к крайним средствам ради блага, ко всему, что только возможно, – ради бытия.

Возможное – это река или море, сдерживаемые плотинной.

Невозможное – море или река, лишённые плотин и оказавшиеся во власти бурь.

Но бытие есть невозможное, поэтому неизлечимая иллюзия, серьезнейшая ошибка – принимать, напротив, бытие за возможное, так же как моральное благо – за благо абсолютное.

Без плотины ни реку, ни море нельзя сдержать, но сама плотина – искусственна.

Существует то, что есть, и то, чему по договоренности предписано быть – то, что делает бытие возможным.

Часть договора, которую я принимаю, лишь позволяет существовать тому, что без нее было бы невозможным, лишь делает терпимым то, что без нее не было бы таковым, лишь привносит в бытие то, чего бытие не вынесло бы, будь то внесено иным способом или в ином количестве, не прекратив в тот же момент своего существования.

102

Итак, я всегда держусь у самой границы бытия и небытия: здесь мое владение.

Добро адаптирует зло, дает ему средства к существованию, чтобы оно не пожрало само себя, а также свободу передвижения – пропуск. Больше того, речь идет не просто об адаптации, а о натурализации – о праве гражданства, данном чужаку.

Каждый вынужден жить со своими слабостями, я – со своим безумием. Время от времени оно захватывает меня полностью, и я становлюсь похожим на пациента тюремной больницы перед отправкой в госпиталь Святой Анны. Лишь когда я заранее чувствую, что вот-вот произойдет, я стараюсь помешать этому случиться. Я на ходу изобретаю какую-нибудь мудрость, которая становится для меня чем-то вроде частного сумасшедшего дома, – и тогда, с некоторыми предосторожностями, я могу жить, не доставляя неудобств окружающим.

Нужно иметь толику безумия – без этого нет жизни, и толику мудрости – иначе не сможешь выжить. Нужно быть в достаточной мере безумным и мудрым, чтобы окончить жизнь без богатств и наград, не будучи ни отчаявшимся, ни обесчещенным. Таково настоящее искусство жить.

Часть восьмая

103

ПОЗНАНИЕ СОВЕРШЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ ЗЛА: ОПЫТ ВЫХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОИХ НЕОТЧУЖДАЕМЫХ ВЛАДЕНИЙ

I

Очень редки те люди, чей взгляд как птица, а руки – как взгляд.

О, только бы не иметь громоздкого тела и обременительной для других души!

Возможно, святость – не что иное, как избыточная вежливость.

Бог свидетель, за всю свою жизнь я не сделал ни единого шага, даже пальцем не пошевелил ради того, чтобы мое существование заметили. Это противоречило бы моей философии.

Для меня имеет значение только Вечность. Достаточно того, чтобы я мог в полной мере наслаждаться одним лишь присутствием Бога и самого себя в начале сотворения Мира, этой первозданной свежестью; или присутствием *одного-единственного* Человека.

104

Чужой в современной Вселенной, в моей стране, моей религии, моем доме, чуждый своей собственной душе и Богу.

Какой конформизм во всем у других! Но только не у меня; я принимаю их каждого индивидуально и поочередно, но я бы не вынес всех одновременно.

Каждый раз, когда я приближаюсь к человеку, вот что предстает мне в первую очередь: мой *нонконформизм*. Я никогда не приму полностью ничего, за исключением сущностной реальности: Бога и меня, и порой – еще одного существа между нами.

Я встретил его сегодня утром; это один из моих приятелей, он масон. В детстве мы дружили. Масон? Да, с головы до пят; он подтверждает это с неким мистическим восторгом, столь же отчаявшийся, сколь и гордящийся тем, что является только масоном, но стал им добровольно и поглощен этим всерьез; однако, поскольку он излишне настойчиво добавляет, что стал масоном только для того, чтобы помешать себе слишком много

думать – «Чтобы быть хорошим масоном, надо запретить себе думать», – в этом его масонстве чудится некий вызов лично мне.

Он ни в чем не преуспел и был разочарован, из-за своей гордыни он однажды преткнулся о камень, на котором написал: «Думать запрещено» – словно желая наказать этим Мысль и меня или утверждая, что Мысль – преступление, а я – преступник.

105

Он негодовал на Мысль из-за того, что во времена учебы она не покровительствовала ему больше, чем мне, и на нас обоих – из-за того, что она предпочла меня ему. По сути, он устроил нам сцену ревности – Мысли и мне.

Никакой персоны, кроме моей и Божественной, лишь иногда – еще одной Человеческой.

Мне кажется, истинное величие несовместимо с презрением; я не имею в виду – к Человеку, поскольку это всего лишь абстрактное понятие, или к Индивиду – это всего лишь выражение количества, – я говорю о презрении к чьей-то конкретной человеческой Персоне, окруженной своими сподвижниками и слугами – Телом и Душой, движущейся среди бесконечной процессии своих предков, потомков и современников, одинокой, занимающей свое единственное место, на котором она не заменима никем, навечно распятой между пространством и временем, следующей своему предназначению и одновременно свободной – я хочу сказать, попросту реальной.

Я все сильнее ощущаю, что мое тело – всего лишь связующее звено между мною и неким порядком вещей; что если эта связь будет повреждена, мое единство с материальным миром ослабнет и важность этого мира для меня уменьшится, – но останется другой мир, который не нуждается в моем теле для того, чтобы явить мне себя, и в моих силах ответить на призыв этого иного мира, чтобы вернуть себе прежний, материальный, и в придачу свое тело, почти не изменившееся.

Я просыпаюсь в половине девятого, и у меня такое чувство, что нет еще и шести. Все, на что я смотрю под «шестичасовым» углом зрения, меня очаровывает, но поскольку я обманываюсь и на самом деле уже больше восьми, все вокруг меня и во мне вскоре предстает мне таким как есть, нагоняя привычную тоску.

Виноградные листья и усики едва различимы, но их тень на стене так четко очерчена, что этот узор завораживает. Тени вещей порой более реальны, чем они сами.

Моя реальная жизнь гораздо менее значима для меня, чем мои воображаемые жизни, и без тех грехов, которые я только мечтаю совершить, зла, совершенного мною в реальности, было бы недостаточно, чтобы утешить меня, что я не святой.

Нет, на материальном уровне ничто в этом мире не сравнится с телом, на моральном – с душой.

Но чьими душами и телами я располагаю? И что дают мне те души, которыми, как мне хотелось бы думать, я располагаю? Среди наших друзей почти никогда не встречаются те, которых мы достойны, или, по крайней мере, те, которых нам хотелось бы иметь. И те ласки, которые мы расточаем, чаще всего адресованы симулякрам, идолам с глянцевого обложки.

107

Нужно смягчить или ожесточить это сердце, которое ни в коем случае не должно становиться заурядным.

Достаточно, чтобы каждый возвысился над той единственной вещью, которая является его слабостью, – и он полностью восстановит свою силу и обнаружит, что может властвовать над всем остальным.

Первая слабость – причина последней.

Тот, кому удастся возвыситься над своей «единственной слабостью», – я хочу сказать, над той единственной, которая для него представляет собой постоянную смертельную опасность, – тот обретет способность властвовать всем остальным – иными словами, он заслужит того, чтобы быть восстановленным во всех прерогативах своей изначальной Природы – он самым естественным образом делается Магом, Поэтом или Святым.

Медиум лишь ценой больших усилий способен производить те странные феномены, которые

святой с таким трудом старается подавить или скрыть, когда сама его добродетель производит их в нем, вопреки ему.

Могу ли я всерьез сердиться на того, кто смотрит на меня с презрением, не зная, что я полностью избавился от внутреннего разлада с тех пор как живу в Возвышенном!

108

Дерзание и сомнение делят между собой мои дни.

Если порой я совершаю зло, я никогда не становлюсь его союзником, никогда не иду на компромисс с самим собой. Я хочу сказать, что и во Зле я остаюсь самим собой, что я больше не позволяю Злу принижать себя, бесчестить себя.

Различие здесь очень тонкое, и эта двусмысленность извиняет того, кто неверно судит обо мне; но я не имею права себя проклинать и предавать свою душу какой бы то ни было судебной инстанции.

Если порой я вовлекаюсь в Зло, я никогда не предаюсь ему полностью.

Если порой я совершаю Зло, я никогда не примираюсь с собственной низостью.

Я просыпаюсь, охваченный тревогой.

Кто я? что я делаю с собой?

Конечно, я страдаю не из-за моего скрытого, тайного, самого сокровенного «я». Есть ли у меня что-то общее с общей человеческой моралью? Да – образ Бога, который я провижу из самых глубин преисподней.

*Quod licet Jovi, non licet bovi.*¹

Нужно следовать за своим желанием до самых высот и глубин, избегая лишь одного – профанировать его даже малейшим заурядным действием или намерением.

Нужно позволить своему желанию реализоваться – до самых высот и самых глубин; единственное, чего нужно избегать, – любой низости.

Признавая, что душа сотворена совершенной, я верю, что некоторые пороки, в силу того, что их невозможно или сложно удовлетворить, в силу тех трудностей, с которыми связано их удовлетворение, и той неизбежной постоянной неудовлетворенности, в которую они нас погружают, – укореняются в нас гораздо надежнее, чем любые идеалы.

109

Я чувствую свое сходство с теми подозрительными флаконами, на которые наклеены красные этикетки.

Порой очень легко прийти в ужас от самого себя.

Порой лишь тонкая перегородка отделяет стыд за себя от гордости собой.

Лишь страсть или порок способны повергать нас в то же самоуничужение, что и святость; и я полагаю, что лишь в те моменты, когда человек оставлен всем и всеми, в том числе и собой, он наиболее близок к благодати – я хочу сказать, наиболее достоин ее.

1 Что позволено Юпитеру, не позволено быку (*лат.*)

II

Когда существу заурядному выпадает счастье встретить существо выдающееся, оно пользуется этим не для того, чтобы возвысить себя, а для того, чтобы его унижить.

110 Я слишком хорошо знаю, что вся моя жизнь создана из парадоксов, которые извиняют все мои ошибки.

В жизни человека вульгарного, как и любого другого, есть переломные моменты, о которых невозможно забыть, но грубые и поверхностные. Все, что возвышенно или глубоко, от него ускользает.

А судья всегда вульгарен. «Не тебе судить».

Совесть, равно как и вина, непостижимы. Обсуждают факт или совокупность фактов, но бездонная пропасть отделяет от них проступок как таковой – он находится где-то в другом измерении, недоступном человеческому взору.

Так легко перевести благодеяния в злодеяния и наоборот. Моральное осуждение – это интерпретация, прочтение всевозможных фактов; и когда злодею приписывают чистые или героические намерения, а честному человеку – двусмысленные и корыстные, второй становится тем более ненавистным, чем больше им предполагалось восхищаться, а первый – тем более возвышенным, чем больше его предполагалось презирать.

О благословенная напасть, гонимый которой, я бродил сегодня с утра до вечера, постепенно теряя силы на протяжении всего пути.

Нужно непрестанно говорить с собой мягким тоном, чтобы не дать себе отчаяться.

Х. решил расстаться с честью. Его сообщник прибыл; но мало-помалу их беседа становилась все более возвышенной и утонченной. Без первоначального дурного намерения ему не удалось бы подняться столь высоко.

III

Искреннее желание может извратиться и погубить вас, или облагородиться и вас спасти – в соответствии с его ошибочной или верной интерпретацией.

Я вспоминаю об одном каторжнике, который, при посредстве тюремного капеллана, добился в качестве милости постоянного одиночного заключения, потому что каждый раз, когда он видел кого-то из себе подобных, он не мог сдержать желания его убить; но, оказавшись в одиночной камере, которая освещалась через единственное отверстие в крыше, благодаря чему он больше не мог увидеть даже тени другого человека, – принялся за бесконечное сооружение походных алтарей и церквей.

Кто обладает умом и жизненным опытом, достаточными для порождения идеи возвышенной настолько, чтобы оказаться верной? Такой идеи, которая оказалась бы верной в любых обстоятельствах?

Всякая душа непостижима в своем отношении к собственному удовольствию; и ее долг, и ее счастье столь же непостижимы.

У кого-то можно сразу распознать все симптомы очевидного и ужасного порока; но личность, душа – как ее постичь, как определить? Является ли она союзницей этого порока или страдает от него? А ведь отношение души к тому, что, кажется, заполняет ее, – именно это самое важное.

112

Элементы судебного процесса: то, что может быть названо истинным или ложным; то, чью истинность или ложность можно констатировать, – поступок, слово. Но то, чего никто на свете не может знать, – до какой степени в этот поступок, в эту речь вовлечена душа. И даже сама душа этого не знает.

Только Бог знает природу человека, которая самому человеку неведома, и, возможно, зачастую в тех случаях, когда человек ужасается самому себе – Богу известна суть дела.

Один Бог знает меру каждого, неведомую больше никому, и, возможно, зачастую, когда человеку ужасается весь мир, – Богу известна суть дела.

Отношение души к своему собственному удовольствию может варьироваться до бесконечности. Один из этих вариантов именуется счастьем.

Счастье зависит от одного из возможных вариантов отношения души к своему удовольствию.

Многим людям не нравится то добро, которое они делают; возможно, добродетель – одна из

форм отчаяния. Некоторые безрадостные священники с горькой складкой у губ – живое тому доказательство.

Точнее было бы сказать, что привычка делать добро отнюдь не исключает греха отчаяния.

Другим постоянно что-то мешает совершить те дурные поступки, о которых они мечтают, но за это они не требуют себе наград – подобно тому, как одорукий человек озабочен только тем, чтобы сохранять равновесие, а безногий мечтает только о том, чтобы ходить.

113

Не грех как таковой является злом, но определенная манера грешить или благодетельствовать, которая кажется нам наиболее привлекательной.

Не поступок сам по себе имеет значение, но то состояние души, в котором он был совершен.

Есть только одна добродетель – рвение; и другая – скромность.

Таково зло: грех не в том, чтобы его творить, но в том, чтобы, творя его, не уважать ни грех, ни себя во грехе, – или же творить его равнодушно.

Никогда не стоит легко относиться к тому, что любишь – даже в себе. Достоинство любви измеряется лишь в молчании, которым окружен ее объект.

Важна лишь душа и ее благородство, изначальное и приобретенное. Поступки не идут в счет – только их качество.

Добро неотделимо от некоторых зол, которые произрастают из слабости человеческой природы; ум предостерегает нас от них. Но наряду с этим существуют и добродетели, неотъемлемые от величия нашей души.

114 Что меня порой отвращает – враждебность в дружбе, ненависть в любви, зло в добре, пороки в добродетелях. Но это ошибка.

Есть врожденное величие, в той или иной степени свойственное каждой душе, приходящей в этот мир, и величие приобретенное или приумноженное, которое душа дарит самой себе. Даже в самой скромной или самой заблудшей душе всегда можно отыскать признаки величия.

Я заклинаю свою душу ответить: может ли она, несмотря ни на что, сохранить гордость?

– Да, если только мои «добродетели» будут равны моим «порокам». Только Добродетель позволяет некоторые вольности со Злом.

Зачастую какая-нибудь мелочь, которую тщетно пытаешься отыскать в незначительной ошибке, извиняет самые серьезные промахи.

Едва ли не каждый день встречаешь честных людей, которым недостает величия, и преступников, вид которых внушает почтение.

На суде присяжных обвиняемый, какова бы ни была его вина, почти всегда выглядит наиболее симпатичным.

Каждый миг должен быть насыщен упорной, но незаметной борьбой, столь же твердой в выборе средств, сколь верной своей цели и равнодушной к результату.

Нужно лишь постепенно превращать нашу слабость в силу, вытягивать из греха добродетель, заставлять наши собственные пороки служить нам, возвышать нас, чтобы мы могли превзойти самих себя. Нужно преобразовывать Зло в Добро, а каждый из наших наиболее очевидных недостатков – в наиболее глубокий тайный триумф.

115

Я ничто перед лицом столь многих угроз, – но все, что произошло за последние сорок пять лет с этим «ничто», заставляет воздать хвалу ему самому и вечности, которая его окружает!

Один Бог знает счет моим радостям и скорбям. Мне не занимать дерзости, и я понимаю, что последняя из моих неосторожностей меня убьет. Однако умирать все равно придется, и я не хочу, чтобы причиной моей смерти стало пресыщение. Я предпочитаю очертя голову броситься в неизведанное, чтобы испытать свое сердце.

О, это львиное сердце, о котором я столь неверно судил!

Не видется больше никогда – вот единственная временная дистанция, которую я признаю.

Ни богатства, ни роскоши, ни могущества. Бедность, простота, скромность – чтобы душа воссияла.

116 Почему иной свободен от стольких условностей? Потому что в чем-то другом он смиряется с определенной зависимостью, которая является платой за любую власть.

III

Я думаю, что существуют три реальности: время, вечность и души, которые принадлежат тому и другому.

Я думаю, что для каждой души есть три реальности: вечность, время и она сама, принадлежащая тому и другому.

Время течет безлично, и тот, кто отдается этому потоку, будет унесен им и не сохранит ничего ни от себя, ни для себя.

Тот, кто живет в Вечном, ускользает от времени и от себя самого.

Редкий случай, когда душа отказывается одновременно от времени и от вечности и остается верна только самой себе: только одиночеству.

Отношения каждой души с собой самой никоим образом не касаются ни того, что ей присуще, ни Бога, ни любой другой души. Это величайшая тайна.

Душа проявляется лишь в степени своей независимости.

117

Жизнь проявляется лишь в «да» или «нет» – лишь бы они достигли героического уровня.

Сколь бы ни были тесны границы, в которые заключил меня Бог – в них я чувствую себя свободным.

Более того – мои собственные границы, которые установил для меня Бог, меня освобождают.

Может ли такое подверженное влиянию существо, как я, избежать обстоятельств?

Бог устанавливает для нас обстоятельства, но не поступки, не «да» и «нет»; кроме того, порой в нашей власти изменить обстоятельства.

Лучше погубить себя, чем позволить другому себя спасти.

Позволить себя спасти – значит признать свое поражение.

Там, где ты король, – правь.

Бог есть отсутствие пределов.

«Я» на каком-то плане не имеет границ. Я не имею границ на том плане, на котором нахожусь.

118

Долг – это не граница для «я», но лишь сигнал тревоги.

«Я» не находит себя, не должно себя находить, на уровне долга. Это его демиург.

Долг – защитная мера. Долг не ограничивает, но предоставляет возможность – возможность выйти за пределы себя.

Уровень Бога присущ Богу. Точно так же уровень каждой души присущ каждой душе.

Когда душа достигает божественного уровня или уровня другой души, у нее появляется долг. Она выходит за пределы себя.

Там, где «Я» наталкивается на предел – «Я» выходит за пределы себя.

Там, где «Я» встречает другое «Я» – как не натолкнуться на долг?

Там, где «Я» встречает Бога – как не натолкнуться на долг?

Но Долг не ограничивает «Я» само по себе. Он ограничивает «Я» по отношению к тому, что ему чуждо. Иными словами, защищает «Я» от того, что полагает Чужеродным.

119

С того момента, как у меня появляется долг, я больше не нахожусь в границах себя. Долг предупреждает меня, что я уже не на том уровне, который был неотъемлем от «Я».

С того момента, как я возвращаюсь в границы себя, у меня больше нет Долга.

С того момента, как я выхожу за пределы себя – я больше не свободен.

Само по себе «Я» не имеет границ. Сам в себе я всецело и навечно свободен.

D

ПАДЕНИЕ

*ЕДИНСТВЕННО
ВОЗМОЖНЫЙ ФИНАЛ ЗЛА*

Часть девятая

*ЧЕЛОВЕК КАК ПОГИБЕЛЬ
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ «ИНТИМНОЕ»,
«ПРАКТИЧЕСКОЕ» И «ПРИВЫЧНОЕ»
ПОЗНАНИЕ ЗЛА. – ЖЕЛАНИЕ,
ЗАПОЛУЧИВШЕЕ СВОЙ ПРЕДМЕТ;
ИХ БЛИЗОСТЬ, ВЕДУЩАЯ К ПАДЕНИЮ*

I

Действие несовместимо с определенной степенью мудрости. Для того чтобы действовать, нужно быть достаточно невежественным или неумным. Тот, кто смог бы все узнать и все понять, скрестил бы руки на груди и молчал бы, улыбаясь. Любая деятельность, предполагающая хоть сколько-нибудь серьезные и результативные последствия, в той или иной мере хлопотная или направленная на избавление от хлопот, – странным образом ассоциируется с деятельностью преступной, с чем-то низким, морально нечистым, неправильным, с оплошностью, невнимательностью, безрассудством, отсутствием воображения, недостатком здравомыслия на грани откровенного безумия, с

каким-то неприемлемым проступком, вызванным временным помешательством или депрессией. Мудрого человека она способна привести к катастрофе.

Стоя на улице Ренн среди трамваев и лошадей, растерянный, оглушенный, ослепший, я простираю руку к небесам и ясно чувствую, что Божья десница отстраняется, и что сама земля разверзается у меня под ногами, заставляя меня, ставшего жертвой себя самого, повиснуть в пустоте и отдавая во власть преисподней, которая охотно принимает меня и горячо одобряет.

Искушение подобно молнии, на мгновение уничтожающей все образы и звуки, чтобы оставить вас во тьме и безмолвии перед единственным объектом, чей блеск и неподвижность заставляют оцепенеть.

Одиночество весьма опасно, поскольку, если оно не полностью герметично, оно может привести к взрывам иррациональной симпатии или антипатии.

Мне часто случалось предпринимать долгие путешествия ради того, чтобы с кем-то повидаться – и вот, в тот самый момент, когда я входил к нему в дом, я вдруг испытывал желание, чтобы его здесь не было или чтобы он оказался мертв.

Для того, чтобы понять, действительно ли ты любишь что-то, достаточно ответить на вопрос:

предпочтешь ли ты это отдыху – особенно если это нечто, а не некто.

Каждый преследует свою собственную мечту, и мечта одного не похожа на мечту другого, зачастую даже противоречит ей. Тот, кто полагает, что мечты, напротив, гармонируют друг с другом, очевидно, подразумевает какие-то иные реальности, а не ту, в которой существует, – и всякий раз, поддаваясь иллюзиям, терпит крах. Разве что чудом две мечты могут объединиться в результате союза двух людей, которыми они были сформированы, – но такого счастья, скорее всего, никто еще не обретал.

125

Даже одно и то же удовольствие никогда не одинаково для тебя и для меня – и всякий, кто преследует лишь свое удовольствие, отнимает его у другого.

Однако удовольствие, которое хотят доставить тебе другие, – это пытка, которой не избежать. Любишь только то, что выбрал сам, и дружба, которая не просит ничьих советов и живет лишь избыточностью, навязывает тебе свой распорядок и свои тяготы, когда ты больше всего нуждаешься в отдыхе.

Теперь я наконец обещаю устроить себе этот Праздник, от которого больше не в силах уклоняться. Соглашение заключено, час назначен, – но, поскольку речь идет о преступлении, необходимо, чтобы я постоянно, день за днем, испытывал чувство вины, иными словами, состояние глубокой

зависимости – от своего круга чтения, от смены настроений или от общения с теми, кто порой отвращает меня от моего пристрастия к греху.

126

Я рад, что у меня был выбор и что я сохраняю свою долю ответственности на протяжении этой роковой драмы. Наше анонимное соглашение внушает мне гордость за себя. Я больше не игрушка, переходящая из рук в руки. Х., – возможно, он демон – отвечает своим смятением на мое. Прекрасно, что у нас не было никаких обязательств друг перед другом, кроме верности этому мгновению, в котором мы словно застыли и продолжали оставаться неделю за неделей, лишь под влиянием взаимной очарованности.

Он полностью свободен в своих поступках и может не появляться. Я тоже. И у нас нет никакого способа снова отыскать друг друга, если один из нас пропустит свидание.

Пусть наша привязанность друг к другу каждый раз становится сюрпризом для обоих, а вероятность больше не увидеться – главной опасностью; пусть мы не знаем фамилий друг друга и каждая из наших встреч, столь кратких, столь редких, угрожает стать последней, если я или он не захотим следующей – после чего у нас не будет уже никакой надежды встретиться снова, разве что случайно, – но именно это постоянно будоражит нас и еще долго будет хранить нас от пресыщения.

II

Выходишь из дома, сам себе господин, с душой, облагороженной античной философией, чувствуешь себя превыше всех, – но, стоит пройти всего десяток шагов, как фигуры, созданные твоим воображением, протягивают руку тем, кто движется навстречу по тротуару, и мостят тебе дорогу в притон – откуда ты вскоре выходишь, красный от смущения.

127

Без сомнения, нужно воздавать почести Красоте, но ни в коем случае – если вы избрали путь вниз: один и тот же луч всегда освещает одни и те же развалины.

Порок в желании начинается чаще всего с ошибочного восхищения и с неправильного понимания удовольствия. Нет ни одного элемента во внешнем облике, который не заслуживал бы почестей, но предпочитать один элемент другому или одно тело – другому, уделять ему исключительное внимание, делать из него объект поклонения, изолировать его славу от всеобщей – означает, по сути, расчленение.

Где бы я сумел, однако, отыскать переживание более пронизывающее, более значительное, чем то, что я испытываю на дне этой пропасти, чтобы я отказался туда спускаться?

Где бы мне явился тот же призрак Красоты, или кто-то заговорил бы со мной, или я смог бы к кому-то прикоснуться? Я хорошо знаю, что это всего лишь манекен, фантом, образ – но он до такой степени напоминает мне то, о чем я мечтаю, то, что я смутно различаю вдалеке сквозь узкий просвет, – что даже при этом иллюзорном сближении я могу хоть раз ощутить дрожь восхищения или ужаса.

Когда утром просыпаешься и вспоминаешь о вчерашнем грехе, сначала даже не можешь в него поверить, отказываешься в него верить; но это лишь мгновенный ступор – уже в следующую секунду признаешь все как есть и проклинаешь себя.

К полудню уже не воспринимаешь этих проклятий, а вечером все начинается сначала.

На следующее утро шок уже не такой сильный, и проклятия, следующие за ним, звучат без особой убежденности.

Наконец привыкаешь к стыду настолько, что он становится, в буквальном смысле, «хлебом насущным».

III

Увидев его в первый раз, я ничего не заподозрил, поскольку не испытал никаких особенных чувств в его присутствии. Единственное, что меня заинтриговало в собственном поведении – я всеми способами пытался удержать его, даже не ради удовольствия или выгоды, а скорее инстинктивно; и мне удалось задержать его на довольно

долгое время, чего я и сам не ожидал. Я отказался пойти с ним ужинать, не отпустил его ужинать в одиночестве и всю ночь не давал ему заснуть. Я не мог понять причину этой одержимости – или не хотел ее понять? Во всяком случае, я не страдал бы без него. Никаких тревожных симптомов я не ощущал.

Ночь прошла без происшествий – я с воодушевлением читал эту криминальную эпопею, он слушал. Не помню, в какой момент я вдруг впал в лихорадку – без всякого перехода, без малейшей паузы – однако у меня возникло такое чувство, что я поднимаюсь по лестнице в небо: с каждым мгновением груз атмосферы на моих плечах становился все легче, а тяжесть в ногах – все сильней. И все это время мне так хотелось плакать!

129

Теперь, вдали от него, я медленно умираю. Занимается день. Солнце ранит мои бедные глаза, которые так и не сомкнулись, жгучим острием своего копья.

Если бы я знал, что так будет, – нашел бы я в себе силы никогда больше с ним не встречаться? Так или иначе, я снова с ним встретился. Он был радостным, непринужденным – хотя немного слишком непринужденным и радостным для ничем не обеспокоенного человека.

Много раз я улавливал в нем это внутреннее беспокойство, когда смотрел на него чуть более внимательно.

Когда мы шли по улице, он ненадолго остановился, чтобы поговорить со встречным, которого, кажется, знал. Я неожиданно ощутил слабый укол в сердце.

Мне хотелось броситься на этого прохожего, или, по крайней мере, оттолкнуть его и увести Х., утянуть его за руку, все то время, что длилась беседа, – и я не мог понять, из-за чего так взбешен.

Наконец меня осенило. Мысленно я как бы смерил себя взглядом с головы до ног и сказал себе:

– Ты страдаешь. Это очевидно. Этот человек приковал тебя к своей триумфальной колеснице.

130

Воздев скованные руки к небу, я больше не надеялся ни на что, кроме Божьей десницы – но ее не было.

Пламя моих глаз охватило все мое лицо. Пламя моего лица охватило все мое тело. Теперь я весь был одним лишь пламенем.

Это счастье так ново для меня – постоянно видеть перед собой того, на ком отдыхает взгляд, словно на тех огромных парусниках, которые без усталости бороздят океан, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Иметь перед собой того, на ком отдыхают мои руки, когда я ничего не делаю: это его они ищут, переворачивая вверх дном весь мир, чтобы его найти – и когда наконец находят, застывают неподвижно, как две голубки на краю гнезда.

Ему не стоит расстраиваться из-за меня, являющегося живым воплощением скуки и убожества с точки зрения этого мира – и, напротив, Триумфа и Величия с точки зрения Вечности, – но кто же об этом знает?

Мое сердце больше нуждается в самоотверженности, чем в нежности, в жертвенности, чем в сладострастии. Любить для меня отныне единственное, ради чего стоит страдать, отдавать, отдаваться.

Чего бы только я ему не отдал, без того чтобы он узнал об этом.

Каждую минуту мое сердце выбивает по слогам его незнакомое имя.

131

Я уверен, что разрушил бы все возражения, которые он сумел бы привести.

– Если ты выставляешь передо мной свой стыд, я сооружу походный алтарь из своей гордости.

Я желал бы, чтобы ты был в тысячу раз более бедным, уродливым, презираемым, несчастным, отверженным, больным, опустившимся, злополучным, обвиняемым, преданным, осуждаемым, заблудшим, обесчещенным, униженным, опороченным, проклятым.

Представь себе человека, который умер, но его отрезанные руки продолжают жить своей жизнью. Время от времени они сталкиваются, как играющие медвежата, поглаживают друг друга и говорят о нем. Мне кажется, что мы оба – точно такие же слепые руки, которые инстинктивно ищут друг друга, но не сохранили никаких общих воспоминаний о своей прежней жизни, когда они еще были частью единого целого.

Любить – означало бы для тебя и меня: вместе вспоминать кого-то.

Восстановить общее прошлое полностью. Вновь обрести потерянный Рай.

Мне кажется, между мною и тобой царит тайная гармония, которая позволяет нам понимать друг друга, более того – понимать всё остальное, всё то, чего никто на свете не смог бы понять без нас, потому что ты принадлежишь той же религии и одновременно той же ереси, что и я, и это особая ересь: Ты для меня, я для Тебя.

132

До тебя меня интересовало лишь тщеславие моих друзей, порой их душа, но никогда – их тело.

Чтобы скрепить наш союз, мы обменялись одеждой. Теперь он гуляет в моем пальто, а я – в его.

Что значат теперь Мир, Ад и Рай? Во всей Вселенной отныне существует лишь единая неразделимая Троица, единый цикл мироздания: Бог, он и я.

Цвет Неба уже не такой как раньше – но каким был цвет неба, когда я думал, что счастлив? Мое тело вновь обрело эту легкость, эту юную подвижность, свойственную тем, кто будто заново родился, – но некий элемент нечеловеческого в том наслаждении, которое я испытываю, пока еще мешает мне понять, определить, не страдаю ли я больше, чем радуюсь: хрупкость моей радости настолько ощутима для меня, что к ней примешивается чувство опасности.

Мне радостно еще и потому, что моя радость возникает из ничего, – поскольку сейчас я особенно нуждаюсь в скромности.

Что мне с того, что ты – Ничто, которому я принес в жертву Всё? Порой ты сам говорил мне о ком-то другом: «Он – ничто». И что мне с того? Эти слова не имеют для меня никакого смысла. Это точка зрения других. Нет ни одного существа, которое было бы «ничем» для Бога и для меня. Я люблю всех существ, как Бог их любит. Существо – живое существо – никогда не будет «ничем» ни для Бога, ни для меня. Напротив, чем больше оно презираемо, опозорено, тем меньше оно может рассчитывать на других и на себя; порой все его надежды лишь на Бога и на меня. Презрение – это потустороннее королевство, где тот, кто стал его объектом, с уверенностью возвращает себе пурпурную мантию и корону.

133

Если другие для тебя ничто и сам ты ничто для других, изолированный от них внутри самого себя, – то тем более ты для меня всё. И даже если ты станешь ничем для себя самого, ты ни в коей мере не перестанешь быть всем для меня. Напрасно ты будешь отвергать собственную гордыню – я заменил ее своей и расположился в самом ее средоточии; напрасно ты будешь презирать в себе короля – я останусь твоим королевством.

Как твоя жизнь могла бы считаться неудавшейся, если моя – не такова? Как мог бы ты стать бедным, если я богат? Как мог бы ты остаться в одиночестве, если я с тобой? Как мог бы ты не быть, если я есть? Как я мог бы ничего не значить – и

ты сам мог бы ничего не значить – в твоих глазах, если я способен сотворить чудо ради тебя, если из своей привязанности к тебе я создал воистину адскую религию?

134

Он закутан в меня, как в свое пальто, я закутан в него, как в свое пальто. Он не может отнять у меня свою руку, и я не могу свободно отнять у него свою. Наши руки – не что иное, как тени друг друга, но скажи мне: если ты уберешь свою руку, то куда денется ее тень? Скажи мне, куда денутся тени, если они престанут быть видимыми?

IV

Как только меня где-нибудь запирают, я тут же начинаю искать брешь, через которую мог бы ускользнуть, – и благодаря моей subtilности мне всегда это удается. Все то время, что я не снаружи, я испытываю страшное беспокойство! Вы помните, что со мной было, когда открылась вторая дверь?

Словно нежный вкус, словно тонкий аромат, словно загадка, словно волшебство, ускользающее от любой попытки научного объяснения, желание каждого влечет его – или, как бы сказать точнее? каждый уносит свое желание – в глубины преисподней, где он никогда не узнает в точности, ради чего же погиб.

Невозможно заснуть – так явственно я ощущаю свое тело, особенно его границы, и любое ежесекундное напоминание о себе какой-то его части, например, руки или рта, жалит как пчела.

Словно некое предостережение, внезапная дрожь пробегает по моим плечам, по бокам.

Без тебя та масса, которой я являюсь, постепенно разрушалась бы, но форма, которую ты создал, словно скульптор, вокруг меня, среди ночи вызывает у меня интерес к самому себе.

135

Ни иллюзия близкого с ней знакомства, ни право ее требовать не создают интимности, как не создают ее ни продолжительность, ни теснота отношений, ни даже разделение или обмен наслаждениями; даже дружба и любовь не всегда ее предполагают, и нет ничего более желанного.

Она начинается с возникновения общей тайны и заканчивается сообщничеством.

Интимность – это полное безоговорочное самоотречение.

Мне хорошо знакома опасность; но чем лучше добыча защищена, тем меньше у нее надежды, тем больший триумф – подстеречь ее и схватить.

Что значит сладострастие, если оно не приводит к величайшему душевному смятению? или не является наградой за величайший риск?

Некоторые существа способны оценить ласку лишь в той мере, в которой она их убивает или бесчестит.

Интимность начинается там, где больше не осталось самолюбия, – и, возможно, в итоге приводит только к совместному падению.

136

Что-то новое внесено в мое отчаяние полным отсутствием каких-либо мыслей. Ни религиозных, ни любых других определений добра и зла – лишь бесконечное погружение, словно в бездну, в грубую и живую плоть, и, возможно, куда-то еще глубже, в грязь и тину: какой пыл вначале и какая невинность в конце!

О, путешествие, в котором стремишься раскрыть тайну прекрасного, будто следуешь всю ночь сквозь темную галерею, а потом занимается день – над неизвестным, над Неизвестным, чье равнодушие лишь распаляет меня. Наконец приблизить к себе существо, лишённое сентиментальности, которое не зародит во мне никакой нежности, не вытянет из меня ни одного заветного слова, к которому я не смогу привязаться, которое не сможет привязаться ко мне, с которым я расстанусь без надежды снова встретиться, в полной безмятежности, которое я буду любить не ради него, но ради себя – и оно будет об этом знать, которое также будет любить меня не ради меня, но ради себя – и я буду об этом знать, которое будет любить во мне лишь видимость, даже и не мою (оно никогда не узнает меня по-настоящему), и в

котором я буду любить лишь видимость – даже и не его (я никогда не узнаю его по-настоящему).

Две статуи в комнате или в Королевском саду. Их перемещают поближе друг к другу, затем снова расставляют подальше.

Из-за того, что есть в нас общего, мы сближаемся, но из-за того, что есть в нас различного, не можем остаться вместе.

Едва осязаемое содрогание, едва заметный изгиб бедер – вот за что порой умирают и убивают. Теперь я это знаю.

137

Одна лишь манера оборачиваться во время наслаждения, чтобы взглянуть на вас, навсегда делает для вас все остальное несущественным.

Тонкие губы, гладкое лицо – эти черты Люцифера неподвижны, как и его плечи; с головы до ног ничто в нем не шелохнется, даже его взгляд – догоревшая головня под слоем пепла. Лишь в зрачках прыгает смех, свидетельство его ненасытности – циничной, холодной, жестокой, в которой нет ничего от истинного, чистого наслаждения, которая не признает никаких компромиссов с нежностью или страстью.

Разве смог бы кто-то взволновать подобное существо – или любое другое существо – так, как только ты был способен это сделать? Обнаженный в своем корсете из твердых мускулов, пьяный от крови и бледный от беспокойства, он отныне будет ждать лишь тебя в своей вечной тьме, и от тебя ждать счастливой возможности освободиться от себя самого.

Распростертый на спине, в момент твоего появления он бледнеет еще сильнее и ничего не говорит.

138

Лишь острия его сосков сморщиваются и твердеют, становясь похожими на темные бархатные снежинки, усеянные золотой пылью, как цветы каштана, называемые «жеманницами», а затем на них выступают две капли молока, крохотные, почти невидимые.

Кто более мужественен и более чувствителен, чтобы настолько взволноваться от той или иной степени близости, просить их без подобострастия, требовать их без высокомерия, переходя затем к еще более неотразимой бесстрастности? Кто одинаково искусен как в обходных маневрах, так и в умении напрямую идти к цели?

Торс медленно клонится, как ствол сливового дерева в волнистых складках коры. Стараясь тебя не побеспокоить, я разворачиваюсь, чтобы полностью предстать твоему взору, – и какое же захватывающее зрелище представляет собой этот нематериальный гигант, одновременно массивный и хрупкий, возбужденный и спокойный, необузданный и укрощенный, который, подобно мне, всегда один и тот же и всегда разный; моя собственная физическая форма, отраженная в нем, постоянно преследует меня, то сливаясь со мной, то глядя на меня из зеркала – привычный знакомец, помощник, сообщник, мой двойник касается меня, окутывает меня, душит в объятиях.

Тайна, установившаяся между вами двумя, которую ты осознаешь, видя должную оценку своих заслуг в его неповторимых глазах, подобна открытию новой неизведанной земли, о которой ты раньше не подозревал и отыскивал ее, лишь проследовав за ним долгим извилистым путем его опыта. Позволил ли ты ему увидеть это новое пространство, этот континент – иными словами, его самого, о ком он еще ничего не знал? Рассказал ли ты ему об этом волшебном свете, об этом небывалом наслаждении, которое ты постепенно научился постигать, – чтобы и он смог вознестись к вершинам своих заветных желаний? Коснулся ли ты его первым в той единственной, едва распознаваемой точке слияния тела и души, где он долго таил надежду на появление кого-то (нет, тебя, только тебя!), кто откроет ему его собственный Эдем?

139

Пусть любовь станет для кого-то предлогом коснуться вас – как нужно и где нужно, как хочется и где хочется.

Ты всегда будешь покусывать вихор на его затылке, такой жесткий, с привкусом бессмертника, а затем спускаться вниз, считая каждый позвонок, и эти ступеньки приведут тебя к краю бездны, где поясница, поражаемая уколами зубов, заставляет подниматься крестец, который, заранее обо всем догадавшись, приходит в волнение, возбуждается, выгибается, вздымается, словно круп крылатого Пегаса.

Напоенный солнечным светом, созревший бутон наконец лопается, раскрывается, разделяется, и лепестки, скрытые внутри, мало-помалу появляются наружу, распускаются, разрастаются; вначале появляется перламутровое острие, затем оно расслаивается на тончайшие розовые лепестки, словно сделанные из шелковой бумаги; вначале почти незаметные, постепенно они образуют веер, напоминающий павлиний хвост – роскошный сложный механизм; и вот эта новорожденная Химера чуть покачивается и трепещет, стремясь приблизиться к солнечному лучу, вызвавшему ее появление на свет – но теперь, превратившись в огненную стрелу, он пронзает ее и убивает. Тогда из глубины пропасти, откуда мы вдвоем ныне пытаемся выбраться, чтобы, поднимаясь из одного мира в другой, наконец достичь эмпирей, доносится глухой ропот и триумфальный крик, который сладострастие способно исторгнуть даже у немых.

Ключ повернулся в замочной скважине, но поскольку я крикнул «Кто там?» – слегка резковатым тоном, Рок заколебался.

Мне определенно кажется, что если бы мой голос в тот момент прозвучал более дружелюбно, тот, кто искал меня, чтобы задушить, осуществил бы свое намерение.

Вот это меня и спасло: сочетание моей уверенности с нерешительностью убийцы.

Как могло случиться, что Бог не погубил меня вот уже сотню раз – я ведь никогда не избегал такого случая? Но я лишь следовал за своим «Демоном», который вел меня, куда хотел.

*ПРОБУЖДЕНИЕ В РАССТРОЙСТВЕ
И РАЗВРАТЕ*

I

Гниение! Я – всего лишь плоть. Неужели только к этому свелось так много столь благородных обетов?

Что я сделал с собой? Что сделало со мной искушение, которое вначале приобрело классический оборот, затем – мистический?

Ночью я просыпаюсь среди влажных от испарины простыней и вижу его, бесстыдно раскинувшегося прямо у меня перед глазами, – слишком близко, чтобы я не был ослеплен, смущен, подавлен этим зрелищем. Его запах щекочет мне ноздри, а его вкус, особый, присущий только ему, в той части его тела, которую я знаю, заполняет все без исключения пупырышки на моем языке и небе. Мои руки отягощены его формой, более ощутимой, более настойчиво приковывающей внимание, чем его материальное существо. Неподвижный, оцепеневший, одинокий, он живет

лишь в моем взгляде; он проходит сквозь мою душу, и все, что сопровождает его, составляет его свиту, окружает меня со всех сторон, затопляет меня. Я больше не я; я – все то, что я пережил, испытав слишком сильное наслаждение; и предмет моего восхищения, преобразовавшись в предмет моего ужаса, больше не отпускает меня. Мое волнение при виде его остается тем же самым, но знак меняется с плюса на минус.

Я могу скитаться по всей Земле и иным мирам в поисках покоя – но я больше нигде его не найду. С настойчивостью, близкой к одержимости, я преследовал Х. Я отыскал его, взволновал, околдовал; с помощью злых чар я превратил его в монстра. Всецело преданный мне, присоединившийся к моей свите со всем своим огромным кортежем, чтобы следовать за мной до конца своих дней и даже в посмертном существовании, он всегда будет в моей тени, облаченный покровом сладострастия и стыда, который я соткал для него из своих взглядов и набросил на него собственными руками. И даже вечности ему будет мало, чтобы всецело меня проклясть, как и мне – чтобы искупить свою вину пред ним. Его деградация, его уже ничем не исправимая развращенность – всем этим он обязан мне; его постоянное смятение – тоже моя заслуга. Его ад – мое творение, и способа вырваться оттуда у него нет. Даже если я спасусь, я погублю его.

Наслаждение, достигшее некоего предела, – это уже ад, кипящие котлы, смола. Для любого

существа, оказавшегося здесь, все, что находится внутри и вне его, постепенно трансформируется, обретая infernalную природу, станет одномерным, монотонным. Исчезнет всякое разнообразие – а поскольку удовольствие состоит в том, чтобы удивляться, то, несмотря на все предосторожности, оно очень скоро сменится отвращением. Затем последует короткий отдых – и желание вновь пронзит вас своим отравленным копьем.

143

Целые пласты густой крови поднимаются из нижних частей тела к сердцу, к щекам и ко лбу, затем уносятся обратно в глубины, где их мощь ненадолго ослабевает, обжигающий жар сменяется ледяным холодом, после чего жизненный цикл возобновляется вновь.

Даже интеллект поступает на службу чувствам; способность к абстрактному мышлению атрофируется, оно становится более предметным; разум уже больше не является банальным справочником, каноном красоты и эстетики, сознание – модным каталогом, ассоциативное мышление – домом терпимости. Начинающееся безумие, в первую очередь затрагивая плоть, отныне отличается от чувств только тем, что есть в нем иллюзорного и химерического, – но чем меньше в нем ограничений и чем более оно является всем тем, что оно в состоянии постичь, тем большую свободу оно дает бурному потоку фантазии и преобразуется в скопище непристойностей; превратившись в Се-

кретный кабинет Неаполитанского музея¹ души, оно прирастает количественно и пропорционально всеми теми уродствами, которые изначально не были ему свойственны.

144

И отныне существо движется дальше лишь в предметном мире, снаружи окруженное осязаемыми формами, а изнутри заполненное формами нереальными. Одни являются отражениями других или бесконечно порождают их, словно два магических зеркала, поставленных друг перед другом. Отражаясь особым образом на сердце и на лице, они создают вокруг души и тела гнетущую атмосферу, густую тень, нечто вроде плотного пространства, которое вызывает паралич и удушье. Становится невозможно двинуться с места – ни подняться из глубин этой темной бездны, ни освободиться от мертвой петли неподвижных свинцовых фигур, от этого давящего эротического доспеха, от этой маски, от этого шлема, от этих барьеров, от этих живых цепей, от этой зловонной тюрьмы, от этой силосной ямы, где увязаешь и погребашь себя в собственных испражнениях, жертвой которых остаешься навсегда, больше не в силах ни жить, ни умереть.

Если бы с каждой частью тела был связан некий Демон, позволяющий нам понять многое о своих и чужих телах; если бы существовал Демон Лица, Рук и Ног; если были бы и другие, более гнусные

1 Коллекция Секретного кабинета Неаполитанского музея включает в себя статуи, фрески, барельефы и другие предметы эротического и порнографического характера, обнаруженные при археологических раскопках в Помпеях. Открыта для всеобщего доступа только в 2000 году.

демоны, разместившиеся выше или ниже, между грудью и бедрами, – Демон фаллический, Демон вагинальный, Демон анальный – если бы их было столько же, сколько есть существ и сколько есть у этих существ фаллосов, вагин и анусов, и если бы эти демоны обладали тем большей силой, чем больше то или иное существо склонно предаваться тому или иному греху, и были бы более или менее многочисленны, в соответствии со склонностями того или иного индивида, – тогда, без сомнения, вокруг некоторых мужчин и женщин они вились бы целыми стаями, словно комариные тучи. Каждого сопровождало бы целое племя, целая вселенная демонов. Такие демоны порой покидают нас, чтобы преследовать и мучить кого-то другого, или, напротив, оставив других, подстерегают и преследуют нас, – так они делают поочередно, а затем сводят нас с другими ради двойной выгоды, без конца зачаровывая и притягивая нас любыми путями к одному и тому же объекту, которому сами же даровали особое очарование, специально для того, чтобы невозможно было перед ним устоять.

Видения ада – хлеб насущный для грешника; уже здесь, на Земле, он оказывается во власти того, что часто является лишь плодом воображения, образом существа, оказавшегося в двусмысленной или постыдной ситуации, ставшего жертвой собственной животной похоти, – и всякий раз, когда Грешник на время избавляется от своей Химеры, это время кажется ему потерянным зря, всякий раз, когда он освобождается от воздействия Образа, созданного его воображением, или Реальности, которую этот Образ представляет,

ему кажется, что он больше не живет, и чем более этот Демон, эта Химера, этот Образ, или Реальность, которая его мистифицирует, невероятны и отвратительны, чем более его падение глубоко, неотвратно и непоправимо, тем большее удовлетворение он испытывает, тем сильнее его опьянение – иными словами, чем более неумолимо притягивает его глубина Бездны, тем больше он захвачен образом, который он удерживает перед собой и который, в свою очередь, удерживает его самого. И эта неподвижная Фигура, с которой он в конце концов себя отождествляет, постепенно расширяется вплоть до границ этого адского жерла, этой клоаки, оказываясь прямо пред ним – он дышит ею, касается ее, поглощает ее, она касается его, дышит им, приближается к нему вплотную – словно одинокий полуслепой глаз циклопа сливается с точно таким же глазом другого циклопа во тьме.

II

– Но что произошло? Я вдруг осознал, что больше не чувствую «сердечного интереса». И я сам себе ужасаюсь, освободившись от себя.

Самоубийство не столько действие, сколько состояние души. Я могу распознавать самоубийц на улицах, а с недавних пор стал замечать самоубийцу, глядя в зеркала.

Меня спрашивают, почему у меня настолько отсутствующий вид. Но я даже не пытаюсь вернуться в окружающую реальность и колеблюсь лишь в выборе между безумным смехом и потоком слез.

Для того и другого у человека всегда найдется причина.

Отрезанный от мира, от остальных людей, я, глядя по сторонам, вижу всех этих существ, которые едут со мной в одном автобусе по одному и тому же маршруту – как, например, вон та блондинка.

Может ли тот, кто уже мертв и находится в преисподней, замечать вокруг себя живых, тех, кому он предоставляет следовать по пути, начертанному им судьбой, – тогда как его судьба уже свершилась? Ему известно расстояние, отделяющее его от них; известно, что они не интересуются теми же вещами, что он. Их взгляды и его, их заботы и его больше не пересекаются; стоя на противоположных берегах, они смотрят в разные стороны.

147

Получаешь смертельный удар – но он напрасен, он задевает лишь фантом. Этот фантом и есть я. Я только кажусь живым.

Нет никакой необходимости убивать себя или умирать, чтобы быть мертвым. Я вполне способен одним лишь усилием воли, достаточно твердой и непоколебимой, переменить курс, оставив здесь лишь свою видимость, а в реальности оказаться на другом берегу, в другом месте, на другой стороне, которой никто не сможет достичь, стать «другим», «по-другому живым», раз и навсегда застывшим в Вечности, на Небесах или в Преисподней.

Итак, я собираюсь приспособиться к новому для меня существованию призрака – доставить себе удовольствие невиданное, неслыханное, неосязаемое.

148

Гораздо лучше тревожное состояние переносится в одиночестве, чем в присутствии другого существа, даже спящего – этот компаньон как бы удваивает своим присутствием ту реальность, которая вас так ранит. В одиночестве легче принадлежать другому миру – странному, необычному, возвращение из которого не гарантировано.

Моя бедняжка-жена хлопочет вокруг меня, ничего не понимая. Я больше не вижу ее и не слышу, но ее заботы порой вызывают у меня угрызения совести.

В какой-то момент она мне говорит:

– Когда я чувствую опасность, я думаю не о том, как ее избежать, а о том, чтобы встретиться с ней лицом к лицу.

Смелость – лучшее оружие.

Только в том случае, если свалился в эту грязь из-за оплошности, можно дождаться того, что она высохнет. Пыль придает внешнему облику некое благородство. Она может запачкать, лишь смешавшись с водой.

Предположи, что грех – это лестница со множеством ступеней, и признай, что ты спустился на самую последнюю, самую глубинную, самую нижнюю, единственную, которой есть смысл до-

стигать, – поскольку ты, смертный, оказавшись на самом дне пропасти, в средоточии своего собственного зла, в самой неизведанной глубине своего существа, испытываешь одновременно целый вихрь чувств, волшебных и ужасающих, абсурдных, законных, омерзительных, – ибо они разрушают всякое благородство, не присущее твоей натуре изначально. Сознайся, что отныне тебе ведомо падение, и ниже пасть уже невозможно – ты достиг глубины глубин, бездны бездн, того крайнего предела, за которым разум и воля нас покидают, чувства утасуют, и остается лишь сознание. Сначала ты превратишься в грязное животное, потом – в склизкое растение, приспособленное к тому, чтобы произрастать в самых отвратительных закоулках преисподней, еще через какое-то время станешь чем-то еще более презренным – протоплазмой, а затем – чем-то настолько близким к понятию «ничто», что ощущаешь мгновенное головокружение при одной только мысли об этом аспекте существования – полное отсутствие, абсолютное небытие. Достигнув этой предельной точки, за которой никакое падение уже невозможно, и в то же время продолжая быть, поскольку никакого пути куда-то еще отсюда нет, ни для кого и ни для чего, поскольку нет более низкого уровня бытия, – я хочу сказать, поскольку бытие здесь прекратилось бы в тот момент, когда оно перешло бы на иной уровень, – и поскольку прекратить бытие полностью для меня также невозможно, я вынужден здесь остановиться. Однако жажда преодоления, которая и завела мою человеческую натуру столь далеко, до такой степени сходна с отвагой, а изумление, которое я испытываю перед непреодолимой преградой, настолько хорошо притворяется экстазом, что я, обещая себе

хранить эти иллюзии вечно, в том случае если Бог меня оставил и я погиб, вдруг чувствую, что мое нынешнее состояние не конечное, а начальное, что оно относится не ко мне, а к тому, что я познал на грани небытия, – и это чувство в один миг меня пробуждает.

III

150

Признайся, теперь тебе известно, что это такое – быть не более чем морским планктоном, слепым и жадным, пасущимся на коралловых полях, во тьме морского дна, где тебя задевают порой лишь акулы и освещают лишь мрачные, фосфоресцирующие взгляды их глаз; что такое – быть мокрицей, плесенью, и не быть ничем иным, как только тем, что человек, оставленный человеком, мог бы сделать из человека.

Потеря себя – дело, касающееся любого существа.

Не стоит считать себя полностью конченным человеком, если любишь то, что стоило бы ненавидеть, и восхищаешься тем, что стоило бы порицать. Конченным человеком становишься в том случае, если считаешь сверх всякой меры то, что достойно лишь презрения, и упорствуешь в своем пристрастии, которое соединяет согласие души с согласием сердца, тем самым разоблачая их сообщничество. Плохой вкус дурно влияет на справедливость суждений. По сути, не в тот ли момент, когда одобряешь и восхищаешься чем-то

недостойным, свидетельствуя самому себе о своей деградации, – гибнешь окончательно?

Не иметь больше иного горизонта, кроме своего визави, этого сидящего напротив ограниченного слепца, – не означает ли это принять inferнальный поцелуй Небытия?

Только тот объект, жертвой которого она предпочла быть, определяет сущность души, все то, что достойно и недостойно ее, как в унижении, так и в славе.

151

IV

О, быстротечность впечатлений! Образ человека, как был бы ты прекрасен, если я смог бы тебя сохранить: сохранить тебя в моем присутствии, сохранить себя в твоём присутствии. Я смотрел бы, как ты движешься, и не мог бы ни полностью охватить тебя взглядом, ни измерить губами протяженность твоего тела, ни сохранить тебя навечно в своих объятиях. Я отказался от тебя, потому что ты все время от меня ускользал. Я не обладал тобой. Только Бог принадлежит мне в той мере, в какой я хотел бы видеть своим тебя.

Может быть, я искал не там, кто знает? Может быть, мои поиски проходили среди зла? Возможно, сила добродетели, даже используемая максимально далеко от самой добродетели как таковой, но зато с искренним стремлением к ней, помогла бы ее достичь?

Только от Бога и самого себя нельзя отделиться. Однако можно отделиться от всего остального.

Жизнь должна была бы меня научить, что для меня важнее всего – в мире или во мне, во мне или в Боге.

Без Бога – во что бы я превратился?

152 Господи, я не хочу знать, какие еще празднества вы уготовили Телу Человека, которым я восхищался вплоть до идолопоклонства, самого возвышенного и самого приземленного. Моя великолепная голова тщетно искала себе место между ее рук, между ее грудей. Она заблудилась и оказалась сегодня на дне, словно обломок кораблекрушения.

Я хотел обладать Человеком так, как можно обладать лишь Богом.

По-прежнему горделивый даже в бесчестье.

Святой Августин

Во мне живет беззащитный, преданный своими слугами, носящими его паланкин, Монарх. В любую минуту они могут взбунтоваться, сбросить его в пыль, обесчестить, убить.

Лишь в Человеке Ангел и Зверь встречаются лицом к лицу и противостоят друг другу, испытывая смятение из-за самих себя.

Удалиться от них настолько, чтобы они стали всего лишь миражом, и шум от их схватки был бы еле слышен.

Тень всех зол усугубляет мои несчастья.

Если нет катастрофы или хотя бы раны – ты играешь, а не живешь. Любовь – это рана, страсть – катастрофа.

153

Страсть – нечто абсолютно иное, чем высокая степень интенсивности Жизни. Страсть, доходящая до пароксизма, – это полное самозабвение, это устойчивость и некоторая медлительность энергетических потоков, которые постепенно накапливаются вплоть до того момента, пока не происходит взрыв.

Однако ни любовь, ни страсть не являются позором, и даже если они нас губят – они нас не бесчестят.

Иное дело порок.

Лихорадка чувственности. Откуда вдруг это стремление к удовольствию? И к какому удовольствию? Какую выгоду, моральную или интеллектуальную, я от этого получу? Никакой. Наоборот. Я, без сомнения, избавлюсь от одержимости, которая преграждает мне путь, мешая наслаждаться чем бы то ни было, интересоваться чем бы то ни было, работать, – но моя память станет хуже, интеллект ослабеет, мое тело станет жертвой постоянного беспокойства, глубоко укоренившегося неизлечимого недуга.

Зло сначала представляется нам некоей сложностью, неким испытанием, искушением; но потом оно обнаруживает себя уже в виде привычки, обязанности, необходимости, тяжкого бремени.

154

Зло сначала представляется нам некоей моральной сложностью, и в нем видится что-то утонченное – но затем, превратившись в обыденность, оно обнаруживает себя настоящей необходимостью, с неизгладимой печатью низости.

Целомудрие кажется мне насущной обязанностью для меня. Тут есть некоторый прогресс, но если этот путь пойдет под уклон – пропасть разверзнется снова.

Довелось ли претерпеть бесчестье или удалось его избежать – в любом случае речь идет о том, чтобы свернуть с ведущего к нему пути, даже не столько пути безумия и смерти, сколько животной чувственности, тайной, но неистребимой.

Е

ПОХВАЛА ПАДЕНИЮ

Радость проклятий. Это настоящее откровение – быть публично оскорбляемым, презираемым. Узнаешь некоторые слова, которые до сих пор казались тебе аксессуарами трагедии, а теперь ты вдруг обнаруживаешь себя облаченным в них, обремененным ими. Ты, возможно, уже не тот, каким тебя считали, не тот, каким тебя знали, но тот, кого другие считали, что знают, – и теперь узнают заново. Если кто-то смог подумать такое обо мне – значит, в основе этого есть некая истина. Сначала пытаешься сделать вид, что это неправда, что это просто маска, театральный костюм, который на тебя набросили в шутку и который ты хочешь сорвать, но нет; они настолько приросли, что уже стали твоим настоящим лицом и телом, и, пытаясь избавиться от них, разрываешь собственную плоть.

Речь идет о ненавистном имени, от которого я мог отказаться вчера, но уже не смогу отказаться сегодня, если кому-нибудь захочется меня им награждать, словно при посвящении наоборот, – я хочу сказать, поставить его на меня, как клеймо. Замечено, что все без исключения мужчины, независимо от своих достоинств, от степени взаимного расположения или родственной близости,

охотно определяют себя и других, исходя из своих и чужих изъянов: мой друг-горбун, мой жулик-кузен, этот пьянчуга Поль (или Пьер) и т.д. Хуже того: это ругательство, это оскорбление преследует меня постоянно. Оно не только отчетливо звучит из уст того или другого – нет, оно на устах у всех, кто меня упоминает; оно «в самой сути»; в моей сути, и я вижу его во всех глазах, смотрящих на меня. Оно в сердцах у всех, кто имеет дело со мной; оно растворено в моей крови и начертано на моем челе огненными буквами. Повсюду и всегда оно сопровождает меня, и в этом мире, и в ином. Оно – я сам; и сам Бог изрек его, нарекая меня этим мерзостным Именем; таким Он видит меня во гневе Своем. Отныне для меня невозможно избежать Суда – Частного, Страшного и Всеобщего.

Но это пустяк – быть публично оскорбленным каким-то чужаком, чье суждение о тебе поверхностно. Оскорбление надо получить письменно, в книге. И если оно исходит от врага – оно ничего не стоит. Хорошо, когда оно принадлежит перу друга – лучше всего наиболее близкого.

Некоторые порочащие нас слова, возможно, нам подходят, но что касается тех, которые могли бы послужить нам руководством в жизни, – мы никогда даже и не думаем применить их к себе до тех пор, пока не увидим их выжженными у себя на плече каленым железом и не обнаружим, что они намертво срослись с нашим именем. Они становятся нашим облачением, самым близким и неотъемлемым, нашим постоянным эскортом, на-

шей свитой, позорной колесницей нашего смятения – всем тем триумфом, которого мы заслужили в глазах других, в то время как сами, возможно, рассчитывали на почести, на всеобщее восхищение.

Счастье – быть объектом насмешек и презрения со стороны единственного человека, которому я доверился.

Я поведал ему – ему первому – Драму всей своей жизни, а он совершил этот поступок, в ответ на благородство моего абсолютного доверия выставив меня перед своей женой в таком свете, что это не могло меня не задеть; он умышленно старался вывести меня из себя, чтобы затем оскорблять меня вместе с ней.

Счастье – быть обезображенным Злом, своим собственным злом. Когда нельзя больше показать себя, показываешь свое зло. Оно становится твоей эмблемой, знаком отличия, белой одеждой безумца или колокольчиком прокаженного. Другие заранее узнают о твоем появлении, замечают тебя еще издалека, и каждый встречный, едва взглянув на тебя, сразу все понимает и стремится тебя избежать, осудить, оттолкнуть в твой грех, приговорить к вечному одиночеству, вечному заточению.

Счастье – больше не иметь друзей, или тех друзей, которых заслуживаешь, – иначе говоря, тебе подобных, которые неизменно показывают тебе твое собственное уродливое отражение.

Счастье – больше не иметь родных. Твоя семья тебя отвергла; если они и говорят о тебе, то только шепотом, а если кто-то говорит о тебе в их присутствии, они опускают глаза; они краснеют от одного упоминания о тебе.

Иногда с трудом удается поверить в свое собственное существование, принять себя всерьез.

160

Особенно же не стоит верить в существование собственного тела – такого, каким оно кажется, – но видеть его таким, как оно есть: не таким, какое оно в настоящий момент, но на протяжении всех его метаморфоз, включая и тот период, когда оно уже находится среди гложущих его червей, и в том Стыде, и в той Славе, которую Господь уготовил ему во веки веков.

Счастье неведения, любого незнания, непонимания – всех видов непонимания, за одним лишь исключением: постижение Небытия. От разрушения к разрушению, преодолев все этапы, я уже не хочу ничего понимать – и только в самой глубине этой тьмы меня озаряет Свет.

Счастье быть ничем, быть уродливым; благотворность стыда, болезней и грехов – болезней, которые делают из меня предмет всеобщего отторжения, и грехов, которые делают из меня предмет отвращения даже для себя самого. Счастье всего того, что меня изолирует, всего того, что меня «омерзвляет».

Подобно тому, как Святой вначале отрекается от Зла, затем – от общества людей и наконец – от всего того, что не есть добродетель, в самом себе, чтобы остаться приверженным лишь Богу, посредством созерцательности и практики совершенной жизни, вплоть до того, что его существо полностью заменяется Небытием и только Бог становится для него всем, – так же и законченный Грешник отказывается от Блага, от Общества, от уважения и почестей, которые оно дает, и наконец – от самого себя, а в самом себе – от всего того, что не есть его Грех, чтобы остаться приверженным прежде всего своему желанию, а затем, совершая поступок, – его объекту, вращаясь в этом порочном круге во имя триумфа своей извращенности, вплоть до того, что его существо полностью заменяется Небытием и только Зло становится для него всем.

161

Пусть существует сходство между путем к Совершенству и путем к Сокращению, пусть даже этапы этих путей одинаковы – но с разных сторон они порой приводят к одному и тому же Свету, из-за тех лишений и потерь, которые приходится на них претерпевать, – хотя и прямо противоположных. Чистота предвидит то, что Нечистота способна лишь констатировать.

Открыть для себя состояние непредставимого одиночества – как раз перед тем, как проснуться; и, по мере пробуждения, наблюдать, как оно постепенно исчезает. Невозможно его вернуть, разве что сохранить воспоминание о нем, похожее на гору, закрывшую половину неба, чья вершина достигает зенита, а вокруг расстилается море. Снизу

и сверху одновременно, на границе бесконечной глубины и высоты я замечаю себя.

Так или иначе, но лишь избавившись от всего в себе, не связанного с добродетелью или пороком, – лишь тогда сверху или снизу, с той или другой стороны Вселенной можно увидеть проблеск истины.

162

Лишь вознесенный к вершинам Добродетели или низвергнутый в бездну Порока, с той или другой стороны себя, – можешь увидеть Сверхприродное.

Столько существ я хотел бы осветить – но пока у меня недостаточно света даже для себя самого.

Я похож на человека, которого другой держит за волосы, и который, не желая, чтобы это заметили, притворяется, будто его ласкают.

Даже самая сильная боль всегда оставляет столь значительную часть моей души свободной для Радости, Божественной и моей, что, по мне, абсолютно боли для Человека не существует.

Всегда найдется уловка, с помощью которой можно избежать страдания.

Боль может стать для кого-то невыносимой, но только он сам будет об этом знать и в это верить.

Это правда, что только теперь я начинаю ясно видеть. Солнце поднимается из-за гор, и рассвет

так прекрасен для того, кто не спал всю ночь на ледяной скалистой вершине, сбившись с пути.

Я полностью согласен с F.M.: не так силен страх невозможности восстановить былую чистоту, как страх того, что не удастся вновь с наслаждением вздохнуть свободно после долгого удушья.

163

– Ты все разрушил?

– Моя мечта обновилась и окрепла.

В средоточии стыда вдруг замечаешь какой-то неведомый свет, не принадлежащий Греху, – слабый, размытый, непонятно откуда исходящий. Вспоминаешь, что утратил, вновь узнаешь это и с легкостью вновь обретаешь; однако Чистые неохотно признают, что тем самым ты оказываешься в том же самом месте, где и они, – хотя пришел туда совсем иной дорогой.

В момент падения, к которому привело нас ослабление наших чувств, все они, даже наиболее животные, вновь обретают благородство.

Нам свойственна алчность, но лишь для того, чтобы ее ненавидеть – и мы ненавидим ее до такой степени, что в конце концов остаемся более нищими, чем кто бы то ни было – буквально обобранными до нитки.

Не будет ли это слабостью – сожалеть об этом желании и всех его жестоких требованиях, которые мы вынесли за пределы самих себя?

Нам достаточно лишь не позволять своему Демону, чтобы последнее слово оставалось за ним.

164

Пусть мне не останется никакой материальной потребности, кроме как дышать в свое удовольствие – словно ростку травы между каменных плит мостовой.

Мы так бедны без Бога, а Бог – без нас.

Бог: Ближайший из близких, самый насущный, единственно необходимый, единственный Предвечный, постоянно Присутствующий и Лучший, Первый и Последний, надежный союзник без малейшей нерешительности, более присущий мне, чем я сам, поскольку Я не могу быть ничем кроме Бога, поскольку без Бога я могу быть лишь небытием.

Господи, дай мне Жизнь.

Нет ничего, что не является тобой, Любовь.

Я так любил всех существ, что Огонь, живущий во мне, уничтожил их, и теперь они лишь пепел и прозрачный дым – остался только Огонь.

Я так любил все вещи, что моя любовь истребила их ради меня, и от них не осталось ничего, кроме моей Любви.

Когда-то был город, высоко расположенный и укрепленный, в котором жил я и прекрасная раса моих братьев и сестер, которых я встречал на улицах и видел в окна, но теперь нет ни улиц, ни окон, никого и ничего – только пепел и дым.

Больше всего не стоит верить в существование своего дома.

Мой Дворец стал жертвой пламени, и мое Тело – всего лишь призрак среди руин.

165

Каждый верит, что живет в доме и в городе, но, даже если я и говорю с моими братьями, даже если я их вижу, слышу, касаюсь, – я прекрасно знаю, что и город, и дом – всего лишь иллюзии, как и мои братья.

Огонь, что сделал ты с моим городом, моим домом, моими братьями? Ты у меня их отнял. Ты вернул их мне такими живыми, ты сделал их присутствие столь ощутимым, что тем самым сделал их для меня недостижимыми, общение с ними – невозможным. Ты от меня их спрятал. Ты у меня их украл. Я больше не могу к ним присоединиться. Ты похитил у меня то, что было в них реального. Ты меня с ними разлучил. Что ты сделал с ними всеми и со мной? Не осталось ничего, кроме Тебя.

Вчера я испугался своего одиночества.

В каком веке я живу, в каком Месте? Ты больше не позволяешь мне об этом знать. Ты разрушил время и пространство.

Огонь!

Какое счастье для меня знать, что у меня нет больше ничего общего с тем, что мне не нравится, с тем, что, как раньше казалось, мне нравится, с тем, что меня окружает.

166 Каковы бы ни были та эпоха и тот мир, которым я принадлежу, разочаровывают они меня или радуют, проклиная или благословляя я свою родину, свой век, – я не хочу об этом знать. Я принимаю лишь Пустоту, в которой я оказался, – царство, которое ты даровал мне во владение.

Будь благословенно, о Единство моей любви, что дало мне познать Истину и Ложь, тщету всего того, к чему люди еще способны испытывать страсть.

Ни одна эпоха, конечно, не была столь возвышенной и столь печальной, потому что никогда раньше у людей не было столь мало невежества и в то же время столь много предрассудков.

Они притворяются, что верят в то или иное человеческое, и у них нет никакого основания для того, чтобы не верить в нечто прямо противоположное.

Любовь больше не здесь или там, она по ту сторону любых пределов.

Нет ничего кроме Любви.

И весь мир ее знает, как и Я, но никто не хочет ее так сильно, как Ты и Я.

Нет ничего более важного, чем Ты и мое согласие, наш Брак.

Пусть я не увижу, не услышу, не произнесу, не смогу ощущать ничего, не дышать ничем, что не было бы Тобой, Предвечный.

Пусть мне не говорят, что я живу в этой комнате, в этом доме, на этой улице, в этом городе, этой стране, этом мире.

167

Я лишь в Тебе, Предвечный, за пределами себя.

Пусть мне даже не говорят больше о том, что я – это Я.

Я себя отверг, я себя истребил до полного Невытия – ради Тебя.

Тебя.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в Москве:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» Новая площадь д.3/4
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo» Таганская ул., 31/22

через Интернет:

«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:

«Либра» librabook.com.ua

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА С. ПЕТЕРБУРГА

По вопросу оптовых продаж обращаться в
ооо «Берроунз», тел. (495) 971-47-92
Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Марсель Жуандо

О МОЁМ ПАДЕНИИ

Kolonna Publications

Россия, Тверь, улица Брагина, 6, офис 301

Подписано в печать 25.05.2013 Тираж 500 экз.

Заказ № 19-08/IV. Формат 70 x 100/32. Объем 10 п.л.

Гарнитура itc Charter

Отпечатано в полиграфическо-оздоровительном центре
Валентина Гудуфра «Последняя Помощь Мутантам», 195220,
г. С.-Петербург, проспект Православного Прощения и Списков
(бывш. Проспект Большевиков), дом 3, корпус 4